

Артур Квиллер-Куч
**Седьмой
человек**

2024

Артур Квиллер-Куч

**СЕДЬМОЙ
ЧЕЛОВЕК**

**Паровая типолитография А. А. Лапудева
Москва
Георгиевский переулок, домъ 19
2024**



Артур Квиллер-Куч. Седьмой человек. — Москва, Паровая
типолитография А. А. Лапудева, 2024 — 84 с., илл.

Избранные рассказы.

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения, извлечения прибыли и т. п. Все материалы получены из открытых источников.

© А. А. Лапудев, состав, перевод, 2024

Тёмное зеркало

В комнате одного моего друга висит зеркало. Продолговатый лист стекла вставлен в раму из тёмного, лакированного дерева, изрезанную в худшем вкусе Регентства и покрытую поблёкшей позолотой. Взглянув издалека, можно предположить, что реликвия сия происходит из какой-нибудь «изысканной» гостиной времён мисс Остин. Но подойдите поближе и посмотритесь в зеркало. Из-за какого-то дефекта или просто причуды конструкции все отражения в нём выглядят мертвенно-бледными. Залейте комнату солнечным светом; встаньте перед стеклянным прямоугольником преисполненным молодостью и горячей кровью — и зеркало не вернёт ни солнца, ни красок, а только ваше собственное лицо, синее и мертвенное, с ужасной непроницаемой тенью за спиной.

С тех пор как я услышал историю этого зеркала, я не раз и не два останавливался перед ним и вглядывался в эту тень. И вот что, кажется, видел я в глубине той тени.

Унылый каменный дом священника, с двух сторон взиравший на кладбище, а позади на многие мили не имевший ничего, кроме уходящих вдаль мрачных вересковых пустошей. Я слышал, как с ночи до утра завывает ветер среди надгробий, прячась за углами дома; переступая порог, я знал, что зеркало это будет стоять над каминной полкой в пустой комнате слева. Я также знал, кому принадлежат четыре приглушённых голоса, приветствующих меня, пока рука моя ещё покоится на щеколде. Четверо детей — три девочки и мальчик — и они спорят из-за коробки с деревянными солдатиками. Старшая девочка, невзрачный ребёнок с красновато-карими глазами и удивительно маленькими ручками, хватает одного из них и кричит: «Это герцог Веллингтон! Это будет герцог!», а солдат её — самый весёлый, самый высокий и самый совершенный во всех отношениях. Вторая девочка выбирает своего, получившего имя «Печалькин» из-за грустного выражения нарисованного лица. И все смеются над младшей девочкой, ибо она выбрала чудного маленького воина, очень похожего на неё; но

она улыбается их смеху и снова улыбается, когда они называют его «Ждущим мальчиком». Наконец выбирает мальчик. Он красивее своих сестёр и является их надеждой и гордостью; у него высокий лоб и хорошо очерченный рот, хотя и немного вялый. Его солдата будут звать «Бонапарт».

Хотя дверь в комнату закрыта, я вижу этих осиротевших детей под тем же голубым зеркалом — стеклом, что помогло побледнеть лицу их матери после того, как она покинула свой дом у тёплого Корнуоллского моря и приехала сюда, дабы поселиться и умереть в сём мрачном изгнании. Её книги всё ещё стоят в маленьком книжном шкафу. Они были отправлены с Запада морем и потерпели кораблекрушение. По большей части это методистские журналы, ибо родители её, как и большинство жителей Корнуолла, были последователями Уэсли¹, и пятна от солёной воды до сих пор видны на их страницах.

Я также знаю, что отец сидит в комнате справа от меня — за одинокой трапезой, потому как у него проблемы с пищеварением, и он предпочитает обедать в одиночестве: странный, маленький, подслеповатый человек, полный печали и сильной воли. Он священник, но днём всегда носит револьвер² в кармане, а ночью кладёт его под подушку. Так он стал поступать с тех пор, как кто-то намекнул, что вересковые пустоши небезопасны для человека с его взглядами.

Всё это я вижу через стекло, и даже больше. Я вижу, как растут дети. Я вижу, как девочки понижают и чахнут в унылом приходском доме, где их пронизывают ветры и душат миазмы с церковного двора. Я вижу, как красивый, многообещающий мальчик направляется к дьяволу — сначала медленно, затем семимильными шагами. По мере того, как надежда исчезает с лиц его сестёр, он начинает пить, курить опиум и опускается всё ниже. Он возвращается домой после недолгого отсутствия, с разбитой душой и телом. После этого в доме нет покоя. Он

¹ Джон Уэсли (1703–1791) — английский священнослужитель, богослов и проповедник, руководитель методистского движения в англиканской церкви.

² Видимо, речь идёт о шестизарядном кремнёвом револьвере Колиера, запатентованном в 1818 г. и выпускавшемся в Лондоне.

спит в комнате с маленьким, упрямым отцом, и часто оттуда доносятся звуки ужасной борьбы. И девочки лежат без сна, изнемогая от страха, и прислушиваются, пока не тяжелеют уши, ожидая выстрела отцовского револьвера. Утром пьяница, пошатываясь, выйдет на улицу и, возможно, взглянет в зеркало, и отражение лишь увеличит его отчаяние.

«У нас с бедным стариком была ужасная ночь, — бормочет он, заикаясь. — Он делает всё, что в его силах, бедный старик! Но со мной покончено».

Я вижу, как он срывается с места и после двадцатиминутной борьбы встречает свой конец в комнате наверху, испытывая странное желание в конце концов ощутить себя мужчиной и встретить смерть стоя. Я вижу, как вторая сестра борется со стремительно убивающей болезнью, но — ибо живёт в ней дух одинокого титана — отказывается от всякой помощи и утешения. Однажды утром она встаёт, настаивая, что оденется сама, и умирает; и вот уже младшая сестра следует за ней, но более медленно и спокойно, как и подобает её кроткой натуре.

Теперь они остались вдвоём — странный отец и старшая из четверых детей, красноглазая девочка с маленькими ручками, девочка, «никогда не говорившая с надеждой». Слава пришла к ней и к её умершим сёстрам. Ибо с детства смотрели они в сие мертвенно-бледное стекло, где отражался их мир, и населяли его странными духами. Мужчины и женщины реального мира осознают ужасную силу духов, но не могут постичь их, ибо не выросли перед зеркалом сим. Но выжившая знает зеркало слишком хорошо.

«Мадемуазель, вы так грустны».

«Месье, это моё право».

В последний раз я заглядываю в маленькую, заурядную церковь, расположенную прямо перед домом священника, и на табличке у алтаря читаю список из множества имён...

И последнее из них — «Шарлотта Бронте».

A Dark Mirror, 1890
Перевод: А. Ланудев

Случай в Бликирк-он-Сэндз

СОБЫТИЯ, ИМЕВШИЕ МЕСТО 23 НОЯБРЯ 186... ГОДА,
РАССКАЗАНЫ РУБЕНОМ КАРТРАЙТОМ,
ЭСКВАЙРОМ БЛИКИРК-ХОЛЛА
ИЗ БЛИКИРК-ОН-СЭНДЗ, НОРТ-РАЙДИНГ, ЙОРКШИР

Неровная, заброшенная конная тропа, спускаясь и поднимаясь, петляла вдоль побережья. То тут, то там, среди мрачных болот, блестело море. Над самой головой неприветливое красное солнце пыталось пробиться сквозь тучи. Справа и слева от тропы тянулась мертвенная, покрытая инеем пустошь.

Опустив поводья на шею лошади, я пустил её иноходью. Мы возвращались домой. Между мной и Бликирком было добрых семь миль, и мы заехали довольно далеко в надежде, что вскоре распогодится, но шансы на удачную охоту исчезли ещё утром. Был уже полдень, я оставил охотников полчаса назад и, повернув к побережью, закурил сигару, чтобы не скучать в пути. Когда мужчине двадцать семь, ему начинает не хватать озноба и азарта ожидания на промёрзшей земле.

Тропа бежала вниз у подножия двух расходящихся от неё холмов. Едва я начал спуск, первый луч солнца упал с тёмного неба и зажёг иней. Я поднял голову и увидел всадника, спускающегося с вершины холма справа.

С первого взгляда я принял его за собрата-спортсмена, который, как и я, утратил надежду загнать лису. Второй убедил меня в ошибочности этого суждения. Незнакомец носил чёрную, устаревшего кроя сутану, широкополую шляпу и гетры. Лошадь, на которой он ехал, — самый жалкий пони из всех — была чрезвычайно желта и космата и так мала, что полы одеяния всадника тащились по земле. Более странной компании я не увидел бы, проживи ещё хоть сотню лет.

Похоже, он не замечал меня, труся по склону, но я понял, что наши пути вскоре сойдутся и мы встретимся в нижней точке спуска: так и получилось.

— Ах, неужели? — проговорил незнакомец, сдерживая пони, как если бы он впервые увидел меня. — Желаю вам прекрасного дня, сэръ! Рад встрече! — И с необычайной учтивостью стянул шляпу с головы.

Моё изумление усилилось, едва я рассмотрел его как следует. Длинные, седые, нечёсанные волосы свисали вокруг бледного лица, истощённого и изрезанного морщинами. Одежды, охватывающие его хрупкое тело, были изношены и засалены, всюду виднелись заплатки. Будь его костюму пятьдесят лет, вряд ли тот выглядел бы хуже. И действительно, учитывая внешний вид незнакомца, можно было принять его за столетнего старика, если бы не живость движений и глаз — серых, цепких и острых, как иглы.

Я ответил на приветствие, едва он поравнялся со мной.

— Не оскорбит ли вас моя компания, сэръ? По вашей куртке я угадал ваше занятие — *venatorem sapit*³, да?

Его голос полностью подходил глазам. Резкие, исполненные экспрессии, они давали понять, что их владелец долгое время провёл в уединении. Им не хватало тепла.

— Я еду домой, — ответил я.

— Да? И где это?

Фамильярность заключалась скорее в словах, чем в манерах, и я не обиделся.

— В Бликирке.

Его глаза на миг устремились к дороге, затем он резко обернулся и посмотрел на меня с некоторым, как мне показалось, подозрением. Он хотел было заговорить, но сдержался, полез в жилетный карман и, вытащив массивную табакерку, предложил мне понюшку. Видя мой отказ, незнакомец угостил большую щепоткой и, позволив поводьям свободно свисать с рук, принялся барабанить по крышке.

— Мне этот вид, *nicotiana*, подходит по причине дешёвизны: нервы раздражены, а кошелёк доволен, как любезный муж из Ювенала: берёшь меня? Я прекрасно знаю Бликирк —

³ Охотника охотника узнает (*лат.*) — рыбак рыбака видит изда- лека.

supersabulum⁴. Кстати, как поживает сквайр Картрайт из Холла?

— Если вы имеете в виду моего отца, Ангуса Картрайта, — сказал я, — он уже двадцать лет как мёртв.

— О! — вскрикнул старый джентльмен и добавил, помолчав секунду: — Ах, время летит, уж можете быть уверены — *quo dives Tullu set*⁵, — Ангус, а? А ведь казался таким здоровяком. Так вы — его сын? — Он взял новую понюшку и добавил: — Очень подкрепляет.

— Табак?

— Вы разгадали меня, сэр. С тех пор как я отправился в путь, тринадцать часов назад, это был мой единственный *viaticum*⁶.

Говоря, он вскинул руки ко лбу и тут же опустил их.

«Тогда, — подумал я, — ты должен был выехать в середине ночи, ведь полдень едва минул».

Поглядев ему в лицо, я ясно увидел признаки истощения. После чего вспомнил о фляжке и корзинке с сэндвичами и вытащил её, уверив его — после извинений за это предложение, — что они полностью к его услугам. Незнакомца охватила детская радость. Он вновь сдёрнул шляпу с головы, прижал её к сердцу и поклялся, что такое поведение делает честь моему покойному отцу.

— У Ангуса Картрайта, — сказал он, — доброта была в крови. Она всегда опережала суждения, а его виски был превосходен. Сюда, у меня есть идея. Спешимся и, подобно героям, устроим пиршество на земле; или, если иней пугает вас, взгляните: рядом есть камни и быстрый ручей, дабы разбавить вино, а ещё, клянусь жизнью, пешеходный мостик, к перильцам которого можно привязать скакунов.

⁴ Bleakirk supersabulum — Бликирк в песках — латинское название местности.

⁵ «Мы лишь канем туда, где прародитель Эней, где Тулл божественный с Анком — в тень обратимся и прах» (Квинт Гораций Флакк, фрагмент оды, перевод Т. Азарковича) — т. е. в царство мёртвых.

⁶ Средство (*лат.*).

Действительно, мы спустились в низину. Ручеёк, вздувшийся от дождей, с весёлым журчаньем пересекал тропу. Подыгрывая своему спутнику, я спешил и, по его примеру, привязал лошадь к перилам.

Живость этого приключения увлекла меня. Мы выбрали два валуна среди кучи мелких камней, чуть за ручьём, и разделили сэндвичи. Хотя я заявил, что не голоден, старый джентльмен настоял на равных порциях. Теперь, когда ликёр согрел его сердце, а солнце било в спину, глаза его заблестели, и он с жаром пустился по волнам весёлой беседы о делах, которые случились до моего рождения.

Мой незнакомец беззаботно болтал, и ощущение, что передо мной сидел восставший от тридцатилетнего сна Рип Ван Винкль, становилось всё сильнее. Говоря о Бликирке, он демонстрировал близкое знакомство с его жизнью, называл старых друзей, чьи имена были мне неизвестны, иные же я видел только в эпитафиях на кладбище, что продувалось ветрами на утёсе. Прекрасные девы, о которых он говорил, давно стали бабками, юношей согнули время и ревматизм, самым младшим было далеко за пятьдесят. Это, похоже, несколько угнетало его. Его глаза потускнели на миг, затем вновь весело заблестели.

— Да-да, — сказал он. — Морщины, лысины, безмолвие могилы, но и у нас был свой день! Мы тоже сорвали цветок юности, а? Поэтическая пошлость.

— Но, сэр, — заметил я так вежливо, как только мог, — вы ещё не открыли мне, с кем я имею удовольствие делить обед?

— Не спешите, юный джентльмен, — он обвёл рукой окружающие болота. — Мы пируем в духе Гомера, а у Гомера, вспомните, хозяин давал гостю четырнадцать дней, прежде чем задать этот вопрос. Позвольте мне ответить не прежде, чем я совершу возлияние этой земле. Ах! Боюсь, виски кончился, но и воды будет довольно. Я беспокою вас: мои суставы не гнутся. Не могли бы вы наполнить чашу в ручье у ваших ног?

Я взял у него чашу и склонился над водой. Едва я сделал это, он, будто кот, прыгнул на меня сзади.

Ужасающий удар обрушился на затылок, боль вспыхнула молнией. Солнечный свет сделался кровью, кровь — тьмой. Раскинув руки, не видя ничего вокруг, я шагнул вперёд и растянулся в ручье.

Придя в себя, я осознал, что, во-первых, лежу, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, во-вторых, лошади всё ещё привязаны и тихо стоят у пешеходного мостика и, в-третьих, что мой спутник занял прежнее место на валуне и наблюдает за мной.

Видя, что я открыл глаза, он приподнял шляпу и обратился ко мне с могильной серьёзностью.

— Поверьте, сэра, я искренне сожалею, что дело приняло такой оборот. Ничего, кроме крайней необходимости, не могло заставить меня ударить сына давнего друга по голове и заткнуть ему рот. Ведь я не желал бы, чтобы сей поступок заставил вас сомневаться в моей признательности. Честное слово, сэра, это ставит меня в чрезвычайно двусмысленное положение.

Он взял понюшку, медленно втянул её и продолжил:

— Как бы то ни было, мне пришлось это сделать. Вы поймёте всю сложность ситуации, если я скажу вам, что моё имя — Тиг. Преподобный Уильям Тиг, доктор богословия и бывший священник прихода Бликирк-он-Сэндз.

Его слова объясняли многое, хотя и не всё. События, приведшие к исчезновению преподобного Уильяма из Бликирка, случились за два года до моего рождения и были столь поразительны, что ещё долгое время давали пищу для разговоров в маленькой рыбацкой деревушке. В детстве мне довелось слышать историю, в которой звучало имя моего спутника, и если до этого мига я испытывал унижение, теперь его сменил ужас, ибо я понял, что имею дело с безумцем.

— Вижу по вашим глазам, сэра, — продолжал он, — вы знакомы с частью моей истории. Остальное я расскажу. Да будет вам известно, что глубокой ночью, в воскресенье, двадцать девять лет назад, моя жена покинула дом священника в Бликирке и не вернулась. Исчезла бесследно. Установили лишь, что она ушла с дамской сумочкой и сменной одеждой. Мы двадцать лет прожили в совершенной гармонии, и объяснения

этому поступку не нашлось ни тогда, ни потом. Более того, вы убедитесь, как печально подействовал на меня её уход. Живость характера сменилась меланхолией. Мои способности (широко известные) в краткий срок поблёкли, вернее сказать, померкли полностью. Меня поместили в лечебницу. Я так и не оправился, верно?

Я как мог дёрнул головой, выражая согласие. Он помедлил, держа щепотку табака большим и указательным пальцами, и кивнул мне в ответ. Хотя его глаза светились безумием, поведение казалось подчёркнуто, искусственно вежливым.

— Моя жена так и не вернулась домой. Конечно, сэр. Она ведь была мертва.

Он поёрзал на валунах, сунул табакерку обратно в карман, положил ногу на ногу и, обняв колено руками, склонился вперёд, вперив в меня взгляд.

— Я убил её, — сказал он медленно и снова кивнул.

Тиг молчал целую вечность. Камень, что он засунул мне в рот вместе с платком, причинял острую боль. Я не знал, как скоро чувства оставят меня, и не смел отвести от него глаз.

Напряжение было нестерпимым. Я почти потерял сознание, когда услышал его голос:

— Любопытно посмотреть, — заговорил он наконец, — любопытно посмотреть, угадаете ли вы, почему тела так и не нашли.

Вновь нестерпимая пауза, и он продолжил:

— Лидия была прелестным созданием и, во многих отношениях, замечательной женой, по-настоящему преданной. А ещё она была жирной, сэр: лицом — студень, плечами — гора. Более того, её голос мучил меня: однообразная, бесконечная, невыносимая болтовня. Стоило Лидии заговорить об архангелах — они мельчали, а темы для разговора она выбирала самые пустячные. Её талия, сэр, и моя рука когда-то были соразмерны. Теперь Лидию не смогли бы обнять и три героя Илиады. Давным-давно её голос заставлял струны моего сердца петь, теперь он размалывал их в жёрновах обыденности. Представьте себе человека чувствительного, осуждённого на такую жизнь.

Он замолчал, сильнее обхватил колено и продолжил:

— Помните, сэр, историю булочника у Лангиуса? Он рассказывает, как некая женщина возымела навязчивое желание впиться в голые плечи булочника, который часто проходил мимо её окна со своим товаром. Эта фантазия завладела ею настолько, что, в конце концов, она обратилась к своему мужу, который (будучи хорошим человеком и не желая её расстраивать), заплатил юноше за укусы. Тот позволил женщине укусить себя только два раза — третьего он бы не выдержал. Несоосуществлённое желание, считает автор, послужило причиной того, что она родила трёх детей: двух живых и одного мёртвого.

— Мой собственный случай, — продолжал преподобный Уильям, — был схож с этим. Бесконечная болтовня Лидии сотрясала её тело, пробуждая во мне всепоглощающее желание ударить. Я хотел видеть, как она дёргается. Я боролся с этим, сдерживался изо всех сил. Странная мечта угнездилась в моей голове, преследовала меня во снах, терзала, будто стервятник. Сотни раз, пока Лидия сидела рядом, предаваясь пустословию, я прижимал кулак к груди, иначе рука сорвалась бы и ударила так, что жена потеряла бы сознание. Я вас не утомляю? Позвольте мне рассказать...

Тем воскресным вечером мы сидели у камина в гостиной. Она говорила и говорила, а я стучал ногой по полу, шепча про себя: «Ты слишком толстая, Лидия, слишком толстая». Она стала обсуждать проповеди, что я читал днём: наряды паствы, расходы на жизнь, болезни в приходе — снова и снова, банально, бесконечно. Внезапно она подняла на меня глаза, и наши взгляды встретились. Жена замолчала — речь оборвалась, будто сбитая в полёте птица, — встала и шагнула ко мне.

— Что-то случилось, Уильям? — спросила она заботливо.

— Ты слишком толстая, душенька, — ответил я, смеясь, и с размаху ударил её кулаком в лицо. Дёргалась она совсем мало — недостаточно, на мой взгляд, — просто свалилась мешком на ковёр. Я взял свечу и осмотрел тело. Лидия сломала шею. Она была, несомненно, мертва.

Безумец вскочил с валуна и воззрился на меня с невыразимым лукавством.

— Я так рад, сэр, — сказал он, — что не было крови, когда я вас ударил. Это — великое благо. Вид крови влияет на меня... ах! — Тиг замолчал, сдерживая дрожь, затем глубоко вздохнул. — Вам знакомы пески Вофул-Несс — Близнецы? — спросил он.

Я хорошо знал этот жуткий мыс. Он простирался на полмили от серой церкви в Бликирке до маленькой рыбацкой бухты на севере, защищая её от ярости приливов. У моря мыс выдавался вперёд, переходя в аспидно-чёрный хребет — две сотни футов среди песков, известных как Близнецы. Тот, что лежит к югу — в бухте, — неподвижен и зовётся Мёртвым мальчиком, а Быстрый мальчик, на севере, постоянно движется. Зыбучий песок поглощает человека за три минуты.

— Решение пришло ко мне вскоре, — подытожил мой спутник. — Убийства нет, думал я, если нет тела. Затем я посадил Лидию в кресло, где она будто бы придремала, и быстро поднялся наверх. Уложил в сумочку вещи, которые она взяла бы в дорогу, спустился, открыл входную дверь, убедился, что слуги погасили огни, вернулся, взвалил жену на плечо и с сумочкой в левой руке вышел в ночь. В закоулке у садовых ворот садовник оставил тачку. Я выкатил её, посадил туда Лидию, и мы отправились к Вофул-Несс. Только старый месяц светил мне, но я знал каждый дюйм дороги.

Большую часть пути под ногами лежал дёрн. Когда он сменился камнем, я бросил тачку. Спускались мы осторожно — нужно было найти опору, ведь Лидия имела чудовищный вес: жирная и неуклюжая, она болталась туда-сюда. Кроме того, мне мешала сумочка. Наконец мы спустились и после небольшого отдыха двинулись по хребту, так быстро, как только могли. Я ужасно утомился.

Дальше всё просто. Встав на краю скалы, я бросил сумочку далеко в северные пески. Повернулся к жене, опустил её на землю. В лунном свете было видно, что её рот открыт, как если бы она всё ещё говорила. Я поцеловал Лидию. Я ведь любил её когда-то. Потом бросил тело в пески, к Быстрому мальчику. Через три минуты она пропала из виду.

Я отвёз тачку домой, смешал себе виски, просидел над ним полчаса и разбудил слуг. Я был хитёр как змий, сэр. Никто не смог отыскать моих следов на дёрне и камне Вофул-Несс. Пропавшая сумочка и натурально устроенный беспорядок в спальне снабдил их уликами, ни одна из которых не привела к Быстрому мальчику. Поиски длились два дня. В конце концов стало ясно: мой рассудок помутился от горя. Сочувствие вашего отца, сэр, не имело границ, и мне приходилось сдерживать себя — по десять раз на дню, — чтобы не рассмеяться ему в лицо. Наконец меня посетили доктора, и я был отправлен в лечебницу. Двадцать девять лет моей жизни прошли в ней, но тёплых чувств сей приют не вызывал. Два дня назад я понял, что место мне наскучило, и решился на побег. Человек, столь ограниченный в средствах, встречается с определёнными трудностями. Я позаимствовал пони из стойла неподалёку от стен лечебницы. Думаю, он принадлежит трубочисту, и, надеюсь, послужив мне, найдёт дорогу к хозяину.

Я полагаю, что он прочёл вопрос в моих глазах, ибо вскричал:

— Хотите знать мою цель?! Всё просто.

Он провёл по лбу худой ладонью.

— Я был заперт, скажу я вам, двадцать девять лет и понял, что лечебница утомляет меня. Меня поймают — будет плач и скрежет зубовой! — и водворят обратно. Что мне остаётся? Ехать в Бликирк и по Вофул-Несс. Там я спешусь, брошу пони и, спустившись по хребту, ступлю в пески, что поглотили Лидию. Просто, не правда ли? *Excessi, evasi, evanui.*⁷ Я должен быть там до заката, — и достав часы, добавил: — А значит, моё время почти истекло. Мне жаль оставлять вас, но вы видите всю сложность моего положения. Встретив вас, я почувствовал внезапное желание открыть секрет, которым до сих пор ни с кем не делился. Вижу по глазам: освободившись, вы попытаетесь мне помешать. К несчастью, ни одна живая душа не ездит этой дорогой: это мне хорошо известно. Но завтра воскресенье, и я оставлю записку на двери церкви в Бликирке, чтобы прихожане узнали о вашем затруднении, прежде

⁷ Вышел, убежал, исчез (*лат.*).

чем минут сутки. Мне пора ехать. Платок, которым я завязал вам рот, оставьте себе на память. С новыми извинениями, сэр, желаю вам хорошего дня и считаю невероятной удачей, что крови не было.

Тиг очень дружелюбно кивнул, повернулся на каблуках и медленно пошёл к мостику. Пока он отвязывал пони, забирался в седло и медленно трусил к побережью, я лишь бесильно глядел ему вслед.

Его сутана некоторое время маячила уменьшающейся точкой на меди болот, застыла на миг на горизонте и исчезла. Я провёл, должно быть, около часа в нелепой и болезненной позе, подсчитывая шансы встретить ночь у ручья. Моим собственным платком Тиг связал мне лодыжки, запястья же — что особенно уязвляло — ремнём моего кнута. Я не мог пошевелить конечностями: перекатился на живот и тёрся лицом о дёрн, пока наконец не избавился от кляпа. Сделав это, я сел и весело закричал.

Долгое время ответом мне было только ржание моей лошади, которая, по всей видимости, поняла, что с хозяином случилась беда, и рвалась с привязи так, что вскоре сломала бы перила. Думаю, я кричал несколько раз, прежде чем с тропы донеслись голоса, и одна алая куртка, затем другая и ещё дюжина показали на вершине холма. Охотники возвращались домой.

Они заметили меня сразу и спустились галопом, онемев от изумления. Кажется, руки мне развязали ещё до того, как я раскрыл рот. Ситуация была до боли нелепой, но тон моей истории скоро изменился и рассмеяться они не успели. Большую её часть я прохрипел под аккомпанемент копыт и щёлканье хлыстов.

Ни за одной лисой Незеркёркская охота не гналась так, как за преподобным Уильямом Тиггом в тот вечер. Мы пересекли болота тонкой красной линией, будто в кавалерийской атаке. Кнут забыл об усталых псах — те безнадежно отстали. С холма у Бликирка мы увидели, что начался отлив, и наша группа разделилась, не останавливаясь. Четыре всадника спустились к пляжу, чтобы проехать вдоль песков у Вофул-Несс

и пересечь пустошь Мёртвого мальчика в надежде достичь хребта раньше безумца и преградить ему путь. Другая группа, со мной во главе, поднялась наверх и пронеслась мимо серой церкви и погоста. На миг я увидел жёлтого пони, пасшегося среди могил. Мы почти настигли беглеца: на полуострове у него, окружённого, оставался единственный выход.

Я помню, как в деревне рыбаки выбегали из домов, прожоя глазами нашу кавалькаду. Всадники на пляже немного нас перегнали, но вскоре утратили преимущество: лошади вязли в песке. Я оглянулся: другие то догоняли меня, то оказывались позади. Вдали раздавался грустный вой отставших собак. Однако ни люди, ни псы не могли увидеть жертву погони: зыбучие пески лежали за скалами.

Дёрн кончился. Спешившись, я бросился к краю утёса и стал спускаться вниз. Через двадцать футов я достиг места, откуда, наклонившись, увидел отмель и Быстрого мальчика справа.

Солнце огненным шаром садилось за нами и освещало преследуемого. Уильям Тиг остановился на самом краю скалы: чёрная точка среди ослепительно-жёлтых песков и моря. Он пребывал в глубокой задумчивости и, стоя к нам спиной, не заметил ни преследователей сверху, ни тех, что появились на хребте позади менее чем в пятнадцати ярдах. Всадники на берегу спешили и осторожно взбирались наверх. Ещё пять секунд, и он был бы схвачен.

Но они недооценили инстинкты безумца. Внезапно Тиг обернулся, сразу увидев обе группы. Последний луч солнца упал на табакерку в его левой руке. Указательный и большой пальцы сомкнулись на щепотке табака. Всё замерло на миг: охотники и жертва смотрели друг на друга. Затем он втянул понюшку, с ужимкой снял шляпу и, поприветствовав нас глубоким поклоном, шагнул со скалы прямо в пасть Быстрого мальчика.

Его было не спасти. К третьему шагу преподобный увяз по лодыжки. Мгновение он боролся, а потом стал заваливаться вперёд, медленно погружаясь, как если бы бил поклоны в

храме. Оцепенев от ужаса, мы смотрели — секунда за секундой, — как он тонет. Через пять минут зыбь Быстрого мальчика сомкнулась над ним.

После полудня викарий Бликирка примчался в усадьбу с запиской, которую нашёл на двери церкви. На клочке старого письма теснились выведенные карандашом слова: «Юный сквайр Картрайт лежит связанным у пешеходного моста, в шести милях от Незеркёрка. Orate pro anima Gulielmi Teague⁸».

The Affair of Bleakirk-on-Sands, 1891

Перевод: К. Воронцова

⁸ Молитесь за душу Уильяма Тига (лат.).

Верный посыльный

Стоял душный августовский полдень. Над холмами не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, и небо над ними напоминало огромную пылающую печь, перевернутую вверх дном. Я устроился под пыльным кустом дрока (деревьев вблизи не наблюдалось) у большой дороги и, стянув сапог, стал разыскивать колючку, каким-то образом в него попавшую. Затем, почувствовав, что снова натягивать сапоги слишком жарко, я вытряхнул из жилетного кармана несколько крошек табака, раскурил трубку и открыл рюкзак.

Я «странник» Святой Земли, с запасом буклетов, назидательных книг и журналов, но особенно много у меня брошюр. Как Ватто превосходно рисовал дам и кавалеров Версаля, потому что презирал их, так и я впарю душеспасительный трактат любому живущему. А если я что особенно ненавижу, так это «розовые брошюры». Бумага такого цвета создана для любви — для украденных поцелуев и свиданий, — и от одного взгляда на напечатанные на ней трактаты у меня внутри всё переворачивается. Я продавал сии творения различным леди и джентльменам; и после расставания с ними с удовольствием ощущал выгоду от реализации своего товара. Должно быть, из-за стоявшей жары я выбрал розовый буклет. Я откинулся назад, спрятав голову в тени, дабы предаться откровенным нелепицам.

Буклет был озаглавлен «Как адски жарко!». Я не сомневаюсь, что слова сии вложены в уста какого-нибудь грешника, а мораль исходит из их буквального значения. Но уже на середине первой страницы на меня, должно быть, напал сон, и проснулся я от звука лёгких шагов.

Шлёп-шлёп-шлёп — шлёп-шлёп. Я поднял голову.

По дороге, несмотря на жару, шли, взявшись за руки, двое маленьких детей — мальчик и девочка; они приблизились и, увидев мои длинные ноги, растянувшиеся в пыли, остановились, засунув палец в рот.

— Привет, мои дорогие! — воскликнул я. — И что вы поделываете на улице в такую жару?

Дети молча взглянули друг на друга. Девочке было около восьми лет, на ней было нарядное розовое платьице с поясом и большая розовая шляпка от солнца, а в руке она держала надкушенное яблоко. Она являла собой истинную маленькую леди, в то время как мальчик в вельветовых брюках и потрёпанной соломенной шляпе казался неотёсанной деревенщиной. Оба ребёнка запылились, но щёки у них горели.

Наконец девочка высвободила руку и шагнула вперёд.

— Будьте добры, сэр, скажите, вы священник?

Вопрос этот меня весьма смутил, ибо, говоря откровенно, в молодости я носил белый воротничок... Поэтому я сел и спросил, зачем ей это нужно.

— Мы хотим пожениться.

Я глубоко вздохнул, перевёл взгляд с неё на мальчика и спросил:

— Это так?

— Она точно хочет, — он угрюмо мотнул головой.

«Ого!» — подумал я и продолжил разговор: — Адам, Ева и яблоко, в полном составе. Вы любите друг друга?

— Я обожаю Билли, — воскликнула юная девица. — Он работает конюхом в «Мешке шерсти» в Бликирке...

— Аромат я уже почувствовал, — вставил я.

— Мы остановились там на ночь — отец и я. Мы путешествуем в карете. А сегодня утром в конюшне я впервые увидела Билли, и влюбилась с первого взгляда. Он намного ниже меня по положению, не так ли, Билли, дорогой? Но он прекрасно ездит верхом, и очень силён, и не так плохо образован, как вы могли бы подумать: он здорово справляется со скороговорками. И он обожает меня, не так ли, Билли?

— Облажает, — невозмутимо уточнил Билли.

— Ты хочешь сказать, что добрались по этому солнцепёку от самого Бликирка? — удивился я.

Девочка кивнула. Она была прелестным ребёнком — темноволосая, с упрямым подбородком, аристократичная до кончиков ногтей. А с какой нежностью она глядела на этого мальчишку из конюшни! Великолепная игра!

— А что ты будешь делать, — решил уточнить я, — когда выйдешь замуж?

— Отправлюсь домой и попрошу прощения у отца. Он гордый, но очень, очень добрый.

Я признался, что являюсь священником, и начал обдумывать, что делать дальше, ибо церковный обряд бракосочетания — это не совсем подходящая вещь для подобных малышей, а девица достаточно быстро распознала бы любую фальшь и точно бы возмутилась. В конце концов я уговорил их присесть рядом под кустом дрока и объяснил, что супружество — дело серьёзное и что необходима изрядная подготовка. Они приготовились слушать.

Дважды побывав в браке, я не испытывал недостатка в материале для проповеди. Действительно, когда я говорю о супружеской жизни, то быстро увлекаюсь. И я совсем не удивился, когда, подняв глаза после получасового монолога, обнаружил, что малыши крепко спят, свернувшись калачиком в объятиях друг друга.

Итак, я накрыл их своим плащом, а потом (ибо меня посетило вдохновение, а в воздухе по-прежнему не чувствовалось ни малейшего дуновения) обошёл с ними, подобно малиновкам в «Малышах в лесу»: разбросал поверх все свои розовые и белые листки, пока не засыпал их полностью, кроме лиц. А потом отправился в «Мешок шерсти».

Однажды весенним утром, десять лет спустя, я стоял возле «Мешка шерсти», пил пиво с высоким сержантом-вербовщиком и рассуждал о сходстве наших профессий, когда в начале улицы показалась почтовая карета о паре серых лошадей, управляемая посыльным в красной куртке. С грохотом спустившись с холма, вся эта компания остановилась у дверей гостиницы.

В карете обнаружили молодая леди с молодым джентльменом, явные молодожёны. Они сидели в карете, держась за руки, пока меняли лошадей. Поскольку у меня имелась пачка брошюр, вполне им подходящих, и учитывая, что молодожёны склонны переплачивать, я подошёл к дверце кареты.

Но стоило мне вежливо поздороваться, как подоспели свежие лошади, а посыльный уже устраивался на козлах. Представьте моё изумление, когда он откинулся назад, резко хлестнул меня по икрам длинным хлыстом и, прежде чем я успел вскрикнуть, пустил лошадей галопом вверх к противоположному холму. Заднее колесо на дюйм лишь разминулось с моими ногами. Через три минуты карета и красная куртка превратились в пятнышко на дороге, ведущей к холмам.

Я вернулся к своей кружке, угрюмо осушил её, швырнул остроту в тупую голову сержанта (он был вне себя от смеха) и медленно пошёл по той же дороге, ибо дела мои влекли меня в том же направлении.

Я взобрался на холм и отшагал, наверное, миль шесть, когда снова увидел впереди красное пятнышко. Это был посыльный — пеший посыльный, вот уж чудо из чудес. Он направился прямо ко мне навстречу, а затем встал на дороге, преградив мне путь, постукивая по сапогу для верховой езды рукоятью хлыста, — красивый, хорошо сложенный молодой человек.

— Тебе придётся, — объявил он, — вернуться со мной в Бликирк.

— Какого чёрта! — воскликнул я. — Учитывая, что Бликирк находится в шести милях позади, а мне надо в другую сторону, и что два часа назад ты, чёрт подери, хлестнул меня по ногам вот этим самым хлыстом, не вижу в том необходимости!

Он угрюмо смотрел на меня около минуты, но не сдвинулся с места.

— Почему ты идёшь пешком? — я решил увести разговор в сторону.

— О, боже мой! — он вздрогнул, будто человек, получивший нож под рёбра. — Я не мог позволить себе ехать верхом, просто не мог. — Он опять дёрнулся и потёр глаза рукой. — Послушай, — продолжил он, — тебе придётся пройти со мной до дому, или, по крайней мере, до Мелового карьера.

Меловой карьер, если писать его с большой буквы, — это весьма глубокий и пугающий провал на самом краю Бликирк-

роуд, примерно в двух милях от деревни. И огорожен он довольно-таки хлипкой изгородью. Не очень-то приятно проезжать там ночью в экипаже, но сейчас был ясный день, а парень шёл пешком. Однако идти с ним мне совершенно не хотелось.

— Послушай меня, — продолжал он глухим голосом, — ты помнишь, как десять лет назад мы сидели на обочине этой дороги? И как мальчик и девочка, придя вместе по этой дороге, попросили тебя обвенчать их?

— Господь милосердный! Так ты был тем пареньком? Он кивнул.

— Да, а молодая леди, ехавшая сегодня в карете, была той девочкой. Старик, я знаю, ты считаешь себя умным, — я слышал, как ты это говорил, но, когда я встретил её сегодня, она была уже три часа как замужем, а меня и не признала. В моём сердце разверзся ад, когда я проезжал мимо Мелового карьера, уж не знаю, поймёшь ли ты. Они смеялись вдвоём, и, заметь, были в этот момент на волосок от смерти. И, клянусь Господом, ты должен помочь мне миновать эту пропасть!

— Молодой человек, — задумчиво произнёс я, — когда я впервые вас встретил, в десятилетнем возрасте, то посчитал глупцом. На сегодня вы превратились в настоящего осла. Но вы опасны, и поэтому я вас уважаю и провожу до дома.

Я повернулся к нему спиной. Когда мы подошли к Меловому карьере, я удержал его на дальней стороне дороги, хотя мне и было жутковато находиться между ним и обрывом, ибо у меня слишком богатое воображение, чтобы чувствовать себя по-настоящему храбрым.

Солнце клонилось к закату, когда мы спустились к Блирку, а сержант-вербовщик, сидя возле «Мешка шерсти», дремал, откинув голову на подоконник. Я его разбудил, и не прошло и получаса, как у моего посыльного на шапке красовался пучок лент — красных, белых и синих.

Полагаю, с тех пор он повидал немало сражений, да и в звании продвинулся.

The Constant Post-Boy, 1891
Перевод: А. Ланудев

Дары Фёдора Химкова

Первый раз я прошёл по побережью от Горран-Хейвен до Жозе-пойнт всего шесть лет назад.

С тех пор я посещал места сии и в хорошую погоду, и в плохую; и со временем, наверно, уподоблюсь служащим береговой охраны, что могут пройти там с завязанными глазами. Но и по сей день в моих воспоминаниях остаётся побережье, где в течение четырёх мрачных декабрьских дней бродил я в одиночестве. Знакомство вышло грубым. Ветер дул мне в лицо, обдавая струями холодного дождя; по левую руку низко висел свинцовый туман, медленно поднимавшийся по Ла-Маншу. Время от времени туман несколько редел и становилось возможным разглядеть впереди белый зигзаг бурунов и размытую полосу суши; или, далеко внизу, скопление мокрых скал, где плескалось море, колыша водоросли. Но по большей части я видел лишь кусты дрока вдоль тропинки, усеянные мелкими дождевыми каплями, в совокупности напоминавшими серый фриз, и клубы брызг, взлетавшие над краем утёса, окатывая меня.

Сразу за вершиной Наре, где тропинка круто спускалась вниз, в тумане возник яркий квадрат, а вокруг него, между дорожкой и морем, вырисовывались очертания коттеджа. Вряд ли можно было найти место более уединённое, чем этот странный уголок побережья; с другой стороны, отблески огня в кухонном окне выглядели очень заманчиво. Мне показалось, что стоит попросить глоток молока и выяснить, что за люди там живут.

На мой стук открыла пожилая женщина. Высокая, слегка сутулая, с жёлтым оттенком лица, попавшим даже на зубы и белки глаз. Чистый белый чепец, завязанный под подбородком лентой, почти скрыл седые локоны. Фиолетовая накидка, широкий халат, коричневое шерстяное платье, едва доходившее ей до щиколоток, и толстые шерстяные чулки, а вот обуви не было.

— Хотите молока? Почему бы вам не выпить чаю?

— Это, наверно, вас побеспокоит, — сказал я, немного стыдясь, что не испытывал чувства голода.

— Мало кто беспокоит нас, дорогуша. Слишком мало, кто на суше и слишком много, кто на море, упокой их души! Проходите внутрь, к огню. Здесь только мой старик, и вам незачем с ним церемониться, ибо он глух как пень и ничего не говорит. Исаак, бедный глухой тетерев, у нас гость, поздоровкайся; хотя, думаю, тебе уже мало что интересуется, кроме похорон.

Она вздохнула, когда я прошёл мимо неё в тепло.

Мужчина, названный Исааком, сидел, съевшись, в кресле перед голубоватым пламенем камина, где пылали дрова. Бросил на меня равнодушный взгляд и снова задремал. Он явно находился на последнем этапе жизни: впал в детство, потеряв память; и сидел там, лишившись дара речи, ожидая освобождения.

Мои грязные ботинки запачкали аккуратно посыпанный песком пол, но старуха протёрла для меня стул так тщательно, словно я был облачён в парадную мантию, и поставила его по другую сторону очага. Затем она поставила на огонь чайник и, отцепив от пояса кошель, достала ключ и открыла небольшой буфет между камином и стеной. Предмет её поисков находился на верхней полке, и ей пришлось забраться на стул, чтобы дотянуться до него. Я предложил свою помощь, но нет — она решила достать это сама. Маленькую зелёную банку.

Жаль, что я не могу описать чай, заваренный из этой банки. Как только кипятик коснулся его, комната наполнилась ароматом. Старик в кресле глубоко втянул воздух ноздрями, как будто аромат разбудил какой-то важный центр в угасающем мозгу. Женщина налила мне чашку, и я пригубил чай.

«Контрабандный», — подумал я про себя, ибо в Лондоне такого чая не купишь, даже заплатив пятьдесят шиллингов за фунт.

— Вам нравится? — спросила хозяйка.

Прежде чем я успел ответить, рядом со мной появился маленький столик, и она принялась раскладывать на нём деликатесы из буфета. Что там только не было! Икра и восхитительный сыр, сушёный инжир и желе из гуавы, оливки, вишни в бренди, вкуснейший фундук в сахаре, печенье и всевозможные необычные русские сладости. Я откинулся на спинку стула, широко раскрыв глаза.

— Это всё нам Фёдор присылает, — пояснила пожилая хозяйка, ставя блюдце с корнишонским кремом и домашний хлеб, завершая праздничный стол.

— Кто такой Фёдор?

— Фёдор Химков. — Она немного помолчала и добавила: — Он помощник капитана на русском судне.

— Друг?

Вопрос остался без ответа.

— Любишь что из этого? — спросила она в свою очередь. — Кое-что кажется диковинными.

— А вам самим что нравится? — Я перевёл взгляд с неё на икру.

— Не знаю. Никогда не пробовала. Мы с моим стариком держим это для бедолаг, что случайно заходят к нам в гости.

— Но это больше подходит для столов богачей.

— Наверно. Я никогда не пробовала, если бы вкусили чего, оно бы застряло у нас в глотке.

На языке вертелось множество вопросов, но я решил, что вежливее будет молча принять это странное гостеприимство. Подняв глаза, я увидел, что она по-прежнему не сводит с меня глаз, и отложил нож.

— Ничего не могу с собой поделать, — извинился я. — Хочу узнать о Фёдоре Химкове.

— Секрета тут нет, — вздохнула она. — Точнее, был один секрет, но Бог уж либо простил, либо осудил. Взгляните на моего старика, он уже раскаялся во всём, в чём только мог раскаяться.

После нескольких секунд колебания она продолжила.

— Знайте, что у меня был сын — о! честный молодой человек, ушедший в солдаты и убитый русскими в Инкермане. Взгляните ещё раз на его отца; думаю, вы считаете его полным слабаком. Так вот, когда нам сообщили эту новость, этот бедный старый червяк поднял кулак к Солнцу и сказал: «Боже, дай мне силу великую, — так сказал он, — если я когда-нибудь встречу русского!». «Боже, пошли мне русского — хоть одного!» — добавил он, имея в виду, что русские не растут на здешней ежевике. Мальчик-то был нашим единственным отпрыском.

Так вот, сэр, прошло почти шестнадцать лет, и однажды ночью мы сидели вдвоём, дрожа от страха, у этого самого камина и слушали, что творится снаружи: в семидесятом году была сильная гроза, и даже в помещении нам приходилось кричать, чтобы услышать друг друга. Около десяти, когда мы уже хотели отправиться спать, раздаётся стук в дверь, и Исаак встаёт, открывает дверь и кричит: «Кто здесь?».

Там, в дверном проёме, стоял крупный молодой человек, весь мокрый, с пятнами крови на лице, и когда он говорил, то показывал белые зубы. Говорил он с трудом, и его почти не было слышно, но широко улыбался от радости, что видит огонь в нашем камине, и зубы у него были белые, как жемчуг.

«Ах, сэр, — воскликнул он, — вы поможете? Внизу, на берегу, выбросило наш барк — пятнадцать бедных братьев! Вы пошлёте за помощью? Поможете?»

Тогда Исаак отступил назад и заговорил очень медленно. «Какой вы нации?» — спросил он.

«Русский — мы все русские; шестнадцать бедных братьев из Архангельска», — сказал молодой человек, как только до него дошёл смысл вопроса.

Мой муж повернулся на каблуках и подошёл к очагу, а матрос протянул к нему руки, и я увидела, что у него нет среднего пальца на правой руке.

«Вы поможете, а? Ах, да, вы поможете. Там пятнадцать бедных братьев, и у многих есть жёны».

Но Исаак сказал:

«Благодарю Тебя, Боже», — и взял полено из очага.

«Передай им вот это», — сказал он, оборачиваясь; и, пробежав к матросу, слабому и шатавшемуся, вышвырнул его вон горячей палкой и запер дверь на засов.

После этого мы с ним всю ночь просидели молча, не разговаривая. А на рассвете Исаак спустился к берегу. Там не на что было смотреть, кроме двух тел, он похоронил их и стал ждать продолжения. В тот вечер выбросило ещё одного, а на следующий день — ещё двоих, и продолжилось ночью. Всего он подобрал и закопал на лугу внизу десять тел. А на четвёртый день он подобрал тело с отсутствующим пальцем под скалой. Это

был молодой человек, что он выгнал, упавший с обрыва и сломавший себе шею. Исаак похоронил и его. И это были все, с учётом двух, найденных береговой охраной. Стражники провели дознание и увезли тела на церковное кладбище.

Вот так оно и случилось, и в течение пяти лет ни Исаак, ни я не открывали рта по этому поводу, даже между собой. И вот однажды в полдень в дверь постучал моряк; и, когда он вошёл, я увидела, что он был в мехах, с большими белыми зубами, торчащими из бороды.

«Я пришёл повидаться с мистером Исааком Ленни», — сказал он на своём диковинном английском.

Итак, я позвала Исаака, и незнакомец схватил его за руку и поцеловал, сказав:

«Батюшка, отведи меня к их могилам. Меня зовут Фёдор Химков, и мой брат Дмитрий был в команде "Вятки". Вы узнали его тело, когда хоронили, потому как у него не было среднего пальца на правой руке. Я сам — несчастный! — отрубил его по невезению, когда мы были мальчишками и играли в лесорубов топором нашего отца. Я слышал, что они погибли, не дождавшись помощи, и как вы похоронили их на своём собственном лугу, и я молюсь за вас всем святым», — так сказал он.

И Исаак повёл его на луг и показал могилу его брата, рядом с могилами остальных. Боже, помоги моему бедняге! Он был слишком труслив, чтобы говорить. Итак, этот человек оставался с нами до захода солнца, расцеловал нас в обе щеки и пошёл своей дорогой, благословляя нас. Да простит нас Бог — да простит нас Бог!

И с тех пор он рвёт нам душу, присылая по почте все эти баснословные дары.

Она прервалась, чтобы поудобнее усадить Исаака в кресло.

— И всё, что мы можем сделать, это потчевать ими таких бедных бродяг, как вы.

The Gifts of Feodore Himkoff, 1891
Перевод: А. Ланудев

Мой дед Хендри Уотти

ШУТКА

Нет в мире второй такой несурзаицы, как то, что я прихожусь внуком отцу моего отца, а не совсем другому человеку. Хендри Уотти — вот кто должен был зваться моим дедом, и он всегда стоял на том, что, с какой стороны ни посмотри, не дотянул до этого совсем чуть-чуть, а стало быть, именно так я и должен к нему обращаться. Не вижу, почему бы мне не поведать вам, как всё случилось, тем более история такая захватывающая.

Мой дед Хендри Уотти поставил четыре галлона эгхота⁹ на то, что ночью, в самую крошечную темень, дойдёт на вёслах до Трясучей Банки¹⁰ и вытянет там невод. Чтобы добраться ночью до Трясучей Банки, надо следовать курсом до Чаячьей скалы, что напротив Трегаменны, а от скалы — по открытому морю, пока не завидишь огни маяка на мысе Святого Антония; но только все всегда обходят Трясучую Банку стороной, потому что однажды в этом месте пошёл ко дну люгер¹¹ Архелая Роуэтта с шестью матросами и поговаривают, будто по ночам там слышны голоса утопленников, которые окликают тебя по имени. Но в Порт-Лоу¹² не было никого храбрее моего деда, и он сказал, что ему на это плевать. И вот как-то в сочельник он с командой поставил днём невод, а вечером, вернувшись, они до чёртиков надрались у Оливера эгхотом, чтобы подбодрить деда и показать, что пари заключалось всерьёз.

За полчаса до полуночи они вышли от Оливера и пошагали к бухте провожать деда. Он рассказывал мне, что страха

⁹ Эгхот — горячий напиток из пива, яиц и пряностей.

¹⁰ Банка — мель в океане.

¹¹ Люгер (люггер) — разновидность быстроходного двух- или трёхмачтового судна.

¹² Порт-Лоу — деревушка на полуострове Розленд на юго-западе Корнуолла.

никакого не чувствовал, но настроен был очень по-дружески, особенно к Уильяму Джону Данну, который шёл по правую руку. Сперва дед даже не понял почему, ведь прежде он был не особо хорошего мнения об Уильяме Джоне Данне. Но тогда они без конца пожимали друг другу руки, и, садясь в лодку, дед попросил: «Пока меня нет, позаботься о Мэри Полли». В то время Мэри Полли Полсью была подружкой деда. Но с чего он заговорил так, словно собрался в долгую дорогу, для него самого осталось загадкой; упоминая об этом, он всегда кивал на судьбу.

— Непременно, — ответил Уильям Джон Данн; друзья, отсалютовав, оттолкнули лодку от берега, дед закурил трубку и начал путь через кромешную темень. И в этой самой кромешной темени он грёб и грёб, догрёб до Чаячьей скалы, за которой светились окошки Трегаменны, и продолжал налегать на вёсла, пока не дёрнулся от удивления, услышав крик:

— Хендри Уотти! Хендри Уотти!

Как уже было сказано, в Порт-Лоу нет человека храбрее моего деда. Но тут он уронил вёсла и раз пять осенил себя крестом. Ибо кто же мог выкрикивать его имя среди ночи, да ещё в кромешной темени?

— Хендри Уотти! Хендри Уотти! Выуди меня!

В рундучке¹³ под кормовым сиденьем дед хранил свои рыболовные снасти. Но только наживки на борту не было никакой. А если бы была, дед не смог бы насадить её на крючок, так у него дрожали руки.

— ХЕНДРИ УОТТИ! ХЕНДРИ УОТТИ! Выуди меня, трус несчастный!

Дед, бедняга, снова схватился за вёсла и налёг на них изо всей силы, спеша убраться подальше, и тут чья-то рука, или не рука, три раза постучала в днище лодки — тук-тук-тук, как стучат в дверь. На третьем тук-туке Хендри Уотти не выдержал и вскочил на ноги. Зубы у него выбивали такую дробь, что трубка во рту раскололась пополам; притворяться и дальше глухим не хватало духу. Он насадил на крючок обломок

¹³ Рундучок (рундук) — возвышение на корме, которое служит одновременно сиденьем и местом хранения судового инвентаря.

трубки и, пропустив лесу через кормовую выемку, швырнул его за борт. Не успел он как следует отпустить снасть, как леса натянулась струной, словно наживку заглотила акула.

— Хендри Уотти! Хендри Уотти! Вытащи меня!

Хендри Уотти стал торопливо вытаскивать лесу, и уже прошло через выемку грузило, а леса по-прежнему оставалась натянутой. Он тащил и тащил, и вот, всё в той же кромешной темени, из воды показались две белые, как у прачки, руки и ухватились за транец¹⁴. На мизинце левой сидело намертво вьёвшееся в него серебряное кольцо. Но ладно бы ещё руки, но как вам большое белое лицо, словно бы варёное, и волосы и борода с застрявшими в них щепками и водорослями? И ладно — вам, а каково пришлось моему деду, ведь он был знаком с Архелаем Роуэттом, прежде чем тот, шесть лет назад, утонул здесь, у Трясучей Банки?

Архелай Роуэтт перелез через корму, вытащил из-за щеки крючок и обломок трубки, опустился на кормовое сиденье, вытряхнул из бороды рачка и говорит, как ни в чём не бывало:

— Если тебе, случаем, встретится моя жена...

Слушать дальше дед не стал. При первых же звуках он завопил как резаный, спрыгнул за борт и очертя голову погрёб куда подальше. Он плыл и плыл, пока в свете проглянувшей луны не завидел впереди Чаячью скалу. Что там полно крыс, он давно знал и всё же от увиденной картины едва не спятил: они сидели в ряд у кромки воды, свесив в море хвосты вместо удочек, и глядели на него через плечо красными глазками-огоньками.

— Хендри Уотти! Хендри Уотти! Тебе нельзя на берег, ты нам всю сайду распугаешь.

— Вот чёрт! Не больно-то и приспичило, — буркнул мой дед и повернул к главному берегу. До земли по Кибберикку было плыть да плыть, и деду едва хватило сил. На каменистом берегу он упал ничком и раскинул руки, ловя ртом воздух.

¹⁴ Транец — плоский срез кормовой части шлюпки, яхты или другого плавательного средства.



Не успел он отдышаться, как слышал шаги: вдоль берега шла женщина. Дед не шевелился и, когда женщина проходила мимо, узнал в ней Сару Роуэтт, прежнюю Архелаеву жену, которая с тех пор успела выйти за другого. Сара вязала на ходу и вроде бы не видела деда, но он расслышал, как она бормотала себе под нос: «Пришёл час, и пришёл человек».

Не успев даже толком удивиться, дед заметил клубок пряжи, который Сара обронила рядом с ним. Это был клубок от Сариного вязанья, и нить протянулась за ней по всему берегу. Хендри Уотти подобрал клубок и на цыпочках пошёл следом. Скоро он догнал Сару и увидел, что она делает, а поглядеть на это как раз стоило. Вначале она насобираала щепок и соломы, ударила кремнём о кресало, зажгла трут и развела костёр. Потом распустила вязанье, скрутила двумя пальцами

один конец нити, как сапожник скручивает дратву¹⁵, и зашвырнула его прямым в небо. Представьте себе, как вылутился Хендри Уотти, когда нить не упала обратно, а осталась висеть, словно бы за что-то зацепилась, и как он вылутился ещё больше, когда Сара Роуэтт стала карабкаться по этой нити вверх и забралась так высоко, что только лодыжки болтались на виду, а всё остальное поглотила крошечная ночная пустота.

— ХЕНДРИ УОТТИ! ХЕНДРИ УОТТИ!

Это был не Сарин голос; он звал издалека, из моря.

— ХЕНДРИ УОТТИ! ХЕНДРИ УОТТИ! Кинь мне лесу!

Пока дед раздумывал, что делать, Сара сверху, из темноты, вдруг говорит ему злющим голосом:

— Хендри Уотти! Где у тебя ракетный линемёт¹⁶? Ты что, не слышишь, о чём бедняжка просит?

— Да слышу я, — говорит дед, теряя терпение. — И что, по-вашему, мадам, я ракету Боксера¹⁷ в кармане штанов ношу?

— А клубок на что? — говорит она. — Бросай его, и подалее.

И дед запулил клубком в крошечную ночную пустоту. Далеко ли, высоко ли он полетел, дед не видел.

— Отлично, — говорит женщина наверху. — Сразу видно, кидать ты мастак. Но люлька — что будет вместо люльки? Хендри Уотти! Хендри Уотти!

— Да, мадам?

— Если ты, как подобает джентльмену, научен приличиям, то будь любезен отвернуться, я собираюсь снять чулок.

И дед, следуя приличиям, стал смотреть в другую сторону, а когда ему было позволено повернуться, увидел, что

¹⁵ Дратва — прочная просмолённая или навощённая нить для шитья обуви, кожаных изделий.

¹⁶ Линемёт — метательное устройство, с помощью которого можно было забросить линь (тонкий корабельный трос) на другой корабль в ходе спасательной операции.

¹⁷ Ракета Боксера — трёхфунтовая двухступенчатая ракета, сконструированная в 1855 г. английским военным и изобретателем Эдвардом Мунье Боксером (1822—1898).

Сара держит в руках лесу, к которой привязано что-то вроде люльки из чулка, и целит ею в кромешную темень.

— Хендри Уотти! Хендри Уотти! Не зевай!

Не успел дед ответить, как — бац! — у самого его уха прокувыркалась в воздухе человеческая нога и шлёпнулась наземь, подняв тучу праха.

— Хендри Уотти! Хендри Уотти! Не зевай!

Следом прилетела большая бледная рука с серебряным кольцом, намертво въевшимся в мизинец.

— Хендри Уотти! Хендри Уотти! Согрей их!

Он подобрал то и другое и начал греть у костра, и тут на землю свалилась большая круглая голова, дважды подпрыгнула и замерла в отсветах огня, наставив взгляд на деда. И чья же она была, как не Архелая Роуэтта, от которого этой ночью дед однажды уже сбежал?

— Хендри Уотти! Хендри Уотти! Не зевай!

Это была ещё одна нога, и дед едва её не словил, и тут женщина крикнула сверху:

— Хендри Уотти! Хватай её скорей! Это моя нога, я её скинула по ошибке!

Нога стукнулась о землю, высоко подскочила, и Хендри Уотти прыгнул за ней...

Сдаётся мне, всё это было сном, потому что вместо ноги миссис Роуэтт в руках у деда оказался утлегарь¹⁸ тяжело нагруженной бригантины, которая пёрла в темноте прямо на него. И когда он прыгнул, бригантина наехала баксом¹⁹ на лодку, и та прямо из-под дедовых ног ушла на дно. Дед завопил, прибежали двое или трое матросов и целого и невредимого втащили его на бушприт, а потом на палубу.

¹⁸ Утлегарь — добавочное рангоутное дерево, служащее продолжением бушприта.

¹⁹ Бакс — серповидная деталь корпуса деревянного судна, соединяющая киль с форштевнем.

Но получилось так, что судно шло в залив Ла-Плата²⁰, так что с разными проволочками обратный путь в Порт-Лоу занял у него все одиннадцать месяцев. И кого он увидел первым делом на пригорке над бухтой? Уильяма Джона Данна, кого же ещё!

— Очень рад тебя видеть, — говорит Уильям Джон Данн.

— Спасибочки, — отвечает дед, — а как там Мэри Полли?

— Ну, что до неё, то забота о ней оказалась хлопотным делом, и я не был уверен, что хорошо справляюсь, пока в июне не сводил её к венцу.

— Ты за что ни возьмёшься, непременно перестараться, — говорит дед.

— Что за ерунда, откуда ты её выудил?

Услышав слово «выудил», дед вышел из себя. Раньше за ним такого никогда не водилось, но тут он съездил Уильяма Джона Данна по носу, Уильям Джон Данн дал сдачи, и пришлось соседям их разнимать. А на следующий день Уильям Джон Данн подал на него в суд.

Дело рассматривали магистраты; дед рассказал им всю историю с начала до конца, без затей, в точности как я вам. Магистраты решили, что, с учётом всех обстоятельств, у деда был серьёзный повод, и присудили ему пять шиллингов штрафа. На том дело и кончилось. Теперь вы знаете, как получилось, что я внук Уильяма Джона Данна, а не Хендри Уотти.

My Grandfather, Hendry Watty, 1892

Перевод: Л. Брилова

Иллюстрация: А. Акишин

²⁰ Ла-Плата — залив на юго-восточном побережье Южной Америки, растянувшийся на 320 км от слияния рек Уругвай и Парана до Атлантического океана.

Ночная переключка на Железном рифе

— Да, сэр, — проговорил хозяин переправы, снимая с крюка над камином старинные музыкальные инструменты, — они висят здесь ещё со времён моего отца. Женщины не прикасаются к ним: боятся связанной с ними истории. Так вот они и болтаются, впитывая дым с пылью, пока не придёт новый хозяин, который выбросит их за дверь, словно отслуживший хлам. Ого, как разыгралась непогода!

Он подошёл к двери, открыл её и постоял, оглядывая бующую за стенами коттеджа стихию. Море ревело, окатывая пенистыми валами выступающие скалы Железного рифа. Несколько дождевых брызг залетели на кухню, сверкнув, словно золотые нити, в отблесках языков пламени. Устроившись в кресле возле камина, я с любопытством поворачивал в руках ветхие реликвии. Металлические части потемнели от времени, матерчатые ремешки пообтрепались и пропылились, но всё не распадались на нити. Поблэкшая перевязь старинной кавалерийской трубы до сих пор сохраняла первоначальную расцветку. На боку большого полкового барабана под слоем копоти с трудом угадывались королевские цвета и вытисненный девиз «ПО МОРЮ КАК ПО СУШЕ» — символ морской пехоты. Кожа, хотя и побуревшая от старости, пропитавшаяся кухонным дымом, оказалась мягкой и податливой; я принялся подтягивать регулирующие ремни, под которые были подсунуты барабанные палочки, с праздным намерением попробовать извлечь звук из дряхлого инструмента.

Однако, поворачивая барабан на коленях, я обнаружил, что он намертво скреплён с трубой необычным замком цилиндрической формы, и наклонился, чтобы рассмотреть его внимательнее. Цилиндр составляли полдюжины медных колец, плотно подогнанных краями друг к другу; протерев медь рукавом, я разобрал тёмные контуры букв, выгравированных вдоль каждой из окружностей.

Хитроумная вещица. Когда-то подобные замки пользовались большой популярностью: их можно открыть, лишь набрав на кольцах определённое слово, которое при покупке продавец сообщает на ухо.

Мой хозяин закрыл дверь, опустил засов и вернулся к камину.

— Ветер с юго-востока. В тот раз он тоже принёс бурю, а вместе с ней и то, что у вас в руках. Да, давно это было; отец часто рассказывал мне эту историю... Вижу, вы пытаетесь разомкнуть кольца. Никогда не угадаете слово: его придумал патер Кендалл и запер им пару призраков, которым не спалось в их могилах. Когда же подошло его время, сам лёг в могилу и прихватил слово с собой.

— Что за призраки, Мэттью?

— А-а, по глазам вижу, что вам не терпится услышать всю историю. Отец рассказывал её лучше, чем я. В то время он был моложе меня, ещё не успел жениться и только-только выстроил этот дом, где мы сидим с вами. Так что всё произошло почти под самым его носом.

Хозяин пододвинул кресло к огню, закурил короткую трубку и тихим голосом поведал давнюю историю, не отрывая взгляда от пританцовывающих язычков фиолетового пламени.

— Да, в тот январь ему исполнилось почти тридцать, так давно это было. В ночь на двадцать первое разразился небывалый шторм. Отец поднялся задолго до рассвета: покойник не любил попусту валяться в постели, к тому же ветер был такой, что крыша шевелилась над головой. По осени он отгородил участок земли возле Нижней поймы и теперь собирался проверить, что там успели натворить дождь и ветер. Тропинка вела через Канонирское поле: несколько дней спустя там похоронили почти всех выловленных утопленников. Ветер всю дорогу дул ему в лицо, а в одном месте (он часто говорил мне об этом) из темноты вылетел клубок водорослей и скользнул по его щеке, подобно холодной руке. Однако отец держался молодцом, пока не достиг низины; там пришлось опуститься на четвереньки и ползти, цепляясь пальцами за гальку; он утверждал, что камни, некоторые величиной с человеческую голову, катились и прыгали мимо него: впечатление было такое, что

весь берег медленно сползает в море, ревущее за его спиной. Изгородь, разумеется, снесло; не осталось ни колышка на месте, где она стояла. Вначале отец подумал, что пропустил свой участок. Надо сказать, что мой родитель был очень набожный человек, и если ему показалось, что конец света близок — посреди мрака и ветра, в окружении перекатывающихся камней, — вы можете быть уверены, — что грохот пушечного залпа и внезапная вспышка, мертвенно высветившая берег, лишь утвердили его в этом предположении. В ту минуту он не нашёл ничего лучше, как помянуть подходящий кусок из Священного писания, забормотав: «Вот и второй Ангел вострубил... восшёл Агнец в брачных одеждах, и был низвергнут Проклятый в пылающую геенну...». Не поднимаясь с колен, он попросту склонил голову и ждал, снова и снова повторяя свою молитву.

Прошло немного времени; ничего не происходило, и в перерыве между двумя залпами он отважился поднять голову и взглянуть в сторону моря. Новая вспышка голубоватого сияния осветила побережье до Железного рифа, где среди адских бурунов отчаянно боролся за жизнь экипаж военного шлюпа. Это они жгли огни и стреляли из пушек. От парусов остались лишь хлопающие на ветру клочья: капитан пытался развернуть нос судна к морю при помощи кормового якоря и пары уцелевших на верхних ряях обрывков. Пока отец наблюдал за его манёврами, якорная цепь лопнула, как натянувшаяся нитка, и фут за футом обречённый шлюп потащило к скалам Каирн-Дю и Варсес. Море пенилось и кипело вокруг; шлюп подбросило, когда его борт проломил подводный бурун. Что было дальше, отец не видел, потому что в этот момент огонь потух.

Так вот, сэр, повернулся он в темноте и побежал в Коверак за помощью — хотя прекрасно понимал, что ничем тут уже не поможешь. Только он повернулся, ветер подхватил его и швырнул наземь, словно Проклятого из давешней молитвы. Должно быть, вы заметили, что даже днём это непростое дело — пробираться среди тамошних камней, так что мой отец изрядно поранился да понасобирал в темноте синяков и шишек. Однако уже светало, и к тому времени, когда он добрался до мыса Норд, можно было без свечи читать газету. По дороге он не оглядывался ни на море, ни на Коверак; сразу направился к

первому коттеджу — он до сих пор стоит на мысе. Тогда в нём жил рыбак по имени Билли Эд, и когда мой отец влетел на кухню с криком: «Кораблекрушение!», то увидел жену Билли Эда — Энн, стоящую у очага в башмаках, с шалью на голове и в насквозь промокшей одежде.

— Господи Боже! — сказала она. — К чему так кричать?

— Кораблекрушение! Я только что с берега...

— Я тоже, — оборвала она отца и показала рукой за его спину. Он обернулся: у косы Долор, в паре миль от Коверака, терпело бедствие другое судно; его палуба почернела от высыпавших людей, подобно муравьям снующих взад и вперёд в утреннем свете. Пока отец смотрел, на борту послышался сигнал трубы; звуки, как птицы, затрепетали в порывах ветра — слабые из-за расстояния и бури, хотя последняя уже начинала стихать.

— Это военный транспорт, — объяснила жена Билли Эда Энн, — полный кавалеристов, высоких, сильных мужчин. Когда корабль налетел на риф, им пришлось утопить своих лошадей, чтобы облегчить осадку. Несколько мёртвых лошадей прибило к берегу, когда я была там полчаса назад. С ними вынесло трёх или четырёх солдат: высокие, стройные мертвецы в белых бриджах и расшитых золотом голубых мундирах. Я поднесла фонарь к одному. Такой красивый мужчина.

Отец спросил её о звуках трубы.

— Это самое странное, — отвечала Энн. — Они жгли огни, когда мы с мужем спустились к косе. На корабле не осталось мачт: смыли их волны или срубила команда, чтобы не перевернуться, — не знаю. Корабль лежал на подводных скалах с голыми палубами. Пробойна находилась у самого киля, и, когда волны стащили его со скал, он стал погружаться прямо, словно наседка на яйцах, — лёгкий крен на правый борт не мешал передвигаться его команде. Поперёк палубы они натянули канаты и выстроились в шеренги, держась за них, пока морские валы перекатывались над их головами. Они вели себя как герои. Капитан и офицеры стояли на юте, в своих золотых мундирах, встречая конец, словно короля Георга — при полном параде. Мы пытались добросить до них верёвки, но всё безуспешно: слишком велико было расстояние. Они продолжали

погружаться, и среди них был трубач — огромного роста мужчина, — который между ударами волн подносил к губам свой инструмент и трубил сбор; на каждый сигнал остальные отзывались дружным «ура!».

Тише, — она наклонила голову, — он снова трубит! Однако «ура» больше не слышно: почти не осталось людей, чтобы отвечать ему, и их голоса слабы. Их руки онемели от волн и пронизывающего ветра: когда муж отправил меня домой приготовить завтрак, они один за другим срывались в кипящее море. Вы говорите, ещё одно кораблекрушение? Боюсь, их уже нет в живых, если шлюп понесло к Железному рифу. Лучше идите на помощь к тем, что гибнут у нашей косы; хотя что можно там сделать? Море отдаёт одних мертвецов. Говорят, они не продержатся больше часа...

Действительно, корабль погрузился по самые борта, когда мой отец добрался до берега. Шестерых выбросило живыми — вернее, подающими признаки жизни, — одного моряка и пятерых кавалеристов. Моряк оказался единственным, кто мог говорить: пока его несли в город, он рассказал, что транспорт назывался «Деспатч» и направлялся домой из Корунны с частями Седьмого гусарского полка, сражавшегося там под командованием сэра Джона Мура. К этому времени волны отогнали корабль далеко от берега; его палуба накренилась, однако дюжина людей ещё оставалась на борту: семеро держались за канаты около обрубка грот-мачты, двое находились возле шканцев и трое — на юте. Из этих троих один определённо был шкипер, рядом с ним стоял офицер в парадной форме — капитан Дунканфилд было его имя, как мы потом узнали; чуть поодаль держался высокий трубач. Вы не поверите, но этот отважный малый играл на своей трубе «Боже, храни короля». Более того, он дошёл до строки «Ниспошли нам победу», когда налетел вал и смыл их с палубы — всех, за исключением одного из двоих на шканцах; тот отпустил канат со следующей волной, вероятно, оглушённый ударом. Море немедленно поглотило свои жертвы, однако трубач, как я уже говорил, был мужчиной необычайно мощного сложения и словно утка вынырнул на поверхность. Он миновал пару бурунов, и собравшиеся на берегу с ужасом наблюдали, как его

несёт прямо на гребень третьего. Когда волна схлынула, он лежал лицом вниз на уступе под нашими ногами. По счастливой случайности один из мужчин обвязался верёвкой — забыл, как его звали, если вообще помнил, — он спрыгнул вниз и схватил трубача за щиколотку. Обоих подтащили к краю скалы, где волны не могли причинить им вреда. Следующий вал вынес их на траву.

Всё случилось в мгновение ока; раны трубача оказались не смертельными — всего лишь трещина в черепе и три полыханых ребра. Через двадцать минут он лежал в постели под наблюдением доктора.

* * *

Теперь пришло время — на судне не осталось никого в живых — моему отцу рассказать о шлюпе, который на его глазах вынесло на Железный риф. Его выслушали, и, хотя большинство отправилось на поиски выброшенных с транспорта припасов, нашлось с полдюжины добровольцев, согласившихся пойти с ним к обломкам шлюпа. Они миновали Нижнюю пойму; ни в море, ни возле Железного рифа не было видно следов крушения. Кто-то назвал моего отца лжецом. «Потерпите до Дин Пойнт», — сказал он. Действительно, на дальней стороне этой косы они наткнулись на корабельную мачту с дюжиной мёртвых моряков, привязанных к ней, — все в красных мундирах, с лёгкими, полными морской воды. Немного дальше трёх или четырёх утопленников вынесло на песчаный берег: один из них маленький барабанщик, совсем мальчик, с полковым барабаном, в мундире; а рядом с ними — обломки корабельной шлюпки с надписью «Примроуз» на фальшборте. С этого места весь берег усеивали обломки и мёртвые тела — большинство мертвецов в красных мундирах морской пехоты. В бухте Рождества плавали части обстановки капитанской каюты и среди них — водонепроницаемый ящик, не сильно повреждённый и полный судовых бумаг, из которых — как выяснилось на следующий день — явствовало, что крушение потерпел восемнадцатипушечный шлюп «Примроуз», направлявшийся из Портсмута с караваном транспортов для

испанской кампании. Говорили, что всего вышло тридцать судов, однако я не слышал, что стало с остальными. Ведомые капитанами торгового флота, они имели больше шансов устоять против шторма в открытом море, нежели лёгкий шлюп, встретивший гибель у берега. Капитану «Примроуза» не следовало приближаться к рифам, хотя... Сейчас легко рассуждать о чужих ошибках.

Да, сэр, «Примроуз» был превосходным судном: для своего класса он был одним из лучших во всём королевском флоте. Перед походом его заново оснастили в Плимутских доках. Жители Коверака подобрали много добротной утвари после кораблекрушения: инструменты, крепкие доски, даже бочки с провизией, не сильно подпорченные морской водой. Они забрали сколько смогли унести и отправились домой, намереваясь совершить по второму заходу до того, как о крушении проведает шериф и его помощники. Нагруженный, словно вьючный мул, отец шагал вдоль косы и случайно взглянул на тела на песке. «Эге, — сказал он и опустил свою ношу, — никак, нога шевельнулась?» Спустившись на берег, он склонился над барабанщиком, о котором я уже рассказывал вам. Лицо бедняги покрывали синяки, ссадины; глаза были закрыты, но нога его снова дрогнула, сместившись на дюйм или два; с губ слетел едва уловимый вздох. Отец достал нож, перерезал верёвку, которой барабан был привязан к своему хозяину, после чего поднял его на руки и принёс сюда в комнату, где мы сейчас сидим с вами. Бочонок и доски пришлось оставить, а когда он вернулся, их уже перехватили люди шерифа, которыми кишел берег. Ничего не оставалось, как удовольствоваться незначительной мелочью, что, согласитесь, несправедливая награда для человека, который первый принёс известие о катастрофе.

Через неделю провели расследование, мой отец дал показания. Однако в остальном законникам пришлось положиться на судовые записи, потому как со шлюпа не спаслось ни души, кроме барабанщика, да и тот метался в жару после ледяной купели. Моряк и пять кавалеристов засвидетельствовали крушение «Деспатча». Гигант трубач, когда у него за-

жили рёбра, тоже предстал перед судьёй и присягнул на Библии, однако что-то повредилось в его голове с той ночи: слова его были бессвязны, и всем стало ясно, что он уже никогда не будет прежним человеком. Его товарищей отвезли в Плимут, и там их пути разошлись, между тем как трубач остался в Ковераке. Король Георг, найдя его непригодным к строевой службе, через некоторое время определил бедняге пенсион — достаточный, чтобы отставной солдат мог оплатить постой и еду, да ещё купить табак для своей трубки.

Прошло больше месяца, когда кавалерист — Вильям Таллифер называл он себя — впервые повстречал барабанщика. Мальчик окреп достаточно, чтобы доктор разрешил ему небольшую прогулку, и, поверите ли, сэръ, он отправился на неё в полном военном облачении, так гордился он своей формой! Его мундир сильно подпортило морской водой, но он наотрез отказался надеть обычные пиджак и брюки, заявив, что предпочтёт ходить голым остаток жизни, однако не унизит себя ношением гражданской одежды. Отец мой, будучи от природы человеком покладистым и хозяйственным, достал иглу с ниткой и как мог зачинил порванные места заплатами, используя для их изготовления мундир одного из утонувших морских пехотинцев. Итак, в тот день бедный малый отправился на Канонирское поле, где были похоронены его товарищи. Стояло ясное мартовское утро, и навстречу барабанщику поднимался инвалид-трубач, который тоже вышел подышать свежим воздухом.

— Эгей! — окликнул он барабанщика. — Превосходное утро! Что привело тебя на это поле?

— Мне грустно, — отвечал мальчик, — что мои палочки унесло море. Моих друзей погребли здесь без барабанной дроби, без мушкетного залпа: не по-христиански так хоронить королевских солдат.

— Фью! — присвистнул трубач и сплюнул на траву. — Горстка мёртвых морских пехотинцев!

Барабанщик глядел на него секунду или две, потом отчётливо произнёс:

— Жаль, что мне недостаёт сил заткнуть тебе рот мотыльной землёй, кавалерист. Это научило бы тебя уважать

чужую смерть. Морские пехотинцы славно исполнили королевскую службу!

Трубач посмотрел на него с высоты своего двухметрового роста и спросил:

— Они умерли храбро?

— Все до единого. Вначале была паника, кто-то начал кричать, некоторые сбрасывали одежду. Когда же корабль получил роковую пробоину, капитан Мейн повернулся и о чём-то посоветовался с майором Гриффитсом, командиром морских пехотинцев. Майор подозвал меня и приказал играть построение: его голос был весел, словно мы готовились к параду перед королевским семейством. Каждый получил приказ надеть парадную форму: солдаты приводили себя в порядок, как женихи перед походом в церковь. Двое даже успели побриться в последнюю минуту. Майор надел свои ордена. Один из матросов, видя, как тяжело мне держать барабан — ремень был велик, да и ветер, ты должен помнить, — привязал его к моей талии куском верёвки. Этот добрый поступок спас мне жизнь: барабан держался на поверхности не хуже, чем пробка. Я продолжал отбивать дробь, пока все до последнего не собрались на палубе. Майор построил нас и призвал умереть, как подобает британским солдатам. Капеллан прочитал молитву — никто не шелохнулся, мужество одного поддерживало мужество других. Молитва не кончилась, когда корабль с треском переломился, ударившись о скалы. В десять минут всё было кончено. Вот так они приняли смерть, кавалерист.

— Это была славная смерть, барабанщик морской пехоты. Как твоё имя?

— Джон Кристиан.

— Меня зовут Вильям Джордж Таллифер, трубач Седьмого гусарского полка Его Королевского Величества. Я играл «Боже, храни короля», когда мои товарищи по оружию тонули. Капитан Дунканфилд приказал играть сбор, чтобы вселить отвагу в сердца, но «Боже, храни короля» я сыграл по собственному желанию. Не принимай мои слова близко к сердцу; морские пехотинцы славные ребята, даже если их рост меньше шести футов. Что же касается подков и человеческих ног — в бою всё решают мужество и стойкость. Мы смело сражались от

Саагана до Корунны, грудью принимали удары под Майоркой, Руэдой и Беннвентой. (Мой отец выучил наизусть эти названия, так часто рассказывал о них трубач. Поэтому-то я так бойко повторяю их вам, сэр.) Мы прикрывали тылы армии генерала Пэйжета, отбивали любые атаки французов во время отступления; пехота при этом прохлаждалась в пивных или занималась разбоем среди местного населения. Однако в Корунне мы поменялись местами; наших лошадей погрузили на шаткие посудины, и с борта своего корабля я видел, как сражались пехотинцы. Они стояли насмерть под пулями и картечью; особенно отличились Четвёртый полк, Сорок второй шотландский и Добровольческий. О да, это превосходные полки, все три стояли насмерть, не хуже королевских гусар, клянусь Богом! Так, значит, ты играл построение, когда шлюп тонул среди скал? Барабанщик Джон Кристиан, за твой мужественный поступок я раздобуду для тебя новые барабанные палочки.

Да, сэр, на следующий же день трубач пешком отправился в Хелстон, где заказал тамошнему плотнику выточить для него пару деревянных палочек. И это было началом самой необычной дружбы, о которой вам приходилось слышать. На лодке моего отца они часто отправлялись к скалам, где разбились и затонули «Примроуз» и «Деспатч». В спокойные дни с Железного рифа долетали звуки их музыки: оба неизменно прихватывали с собой свои инструменты. Барабанщик отбивал дробь, а трубач трубил, заставляя чёрные скалы раскалываться хрустальным эхом. Когда погода портилась, они вместе бродили по берегу и разговаривали; по крайней мере, младший слушал, пока его товарищ распространялся о кампании сэра Джона в Испании и Португалии, рассказывая о сражениях, в которых участвовал его полк, о самом сэре Джоне, о генерале Байрде и генерале Пэйжете, о своём командире полковнике Вивьене и товарищах по знамени, наконец, о кровавом отступлении из Корунны и о многом другом — его воспоминаниям не было конца.

Но всё кончается, и ближе к осени друзьям пришлось расстаться. Джон Кристиан выздоровел, набрался сил и должен был отправляться в Плимут на военную службу. Это было

его собственное желание (уверен, что король Георг напрочь забыл о его существовании), но друг не удерживал его. Что касается самого трубача, отец согласился, что тот поселится у нас в доме после отъезда Джона. В условленный день он стоял у дверей с полковой трубой через плечо и маленьким саквояжем в руке, в котором уместились все его пожитки. Было воскресное утро, и после завтрака он собирался проводить своего друга до Хелстона, где находилась станция дилижансов. Оставив их наедине, отец вышел по делам в огород. Когда он вернулся, барабанщик сидел за столом, а трубач стоял возле камина с трубой и барабаном, скреплёнными вместе.

— Взгляни, — сказал он, показывая замок отцу. — Я приобрёл его у одного оружейника в Лиссабоне. Это не ваши замки, которые в любой момент открывает одно и то же слово. Чтобы закрыть мой замок, нужно придумать слово — шесть букв — и защёлкнуть дужку. Ни одна живая душа не откроет его до тех пор, пока не придёт тот, кто знает слово. Джонни решил оставить свой барабан. Он неплохо звучит, но морская вода и непогода перетянули его кожу, так что в Плимуте барабан всё равно забракуют и выдадут новый. Что до меня, я не смогу играть на трубе, когда уйдёт Джонни. Мы вместе выберем слово и закрём наши инструменты: я повешу их на крюк над камином. Может быть, Джонни вернётся; может быть, нет. Может быть, когда он вернётся, меня уже не будет в живых: пусть он разъединит замок и сыграет сбор на моей могиле. Но если он никогда не придёт, никто не сможет развязать наши инструменты, потому что никто не будет знать слово. На случай если ты женишься, Мэттью, и у тебя вырастут сыновья, скажи им, что здесь висят запертые вместе души Джона Кристиана, барабанщика морской пехоты, и Вильяма Галлифера, бывшего трубача королевских гусар. Аминь.

С этими словами он повесил оба инструмента на крюк; юноша встал из-за стола и тепло попрощался с отцом, после чего друзья направились в Хелстон. Где-то по дороге они расстались: никто не видел их прощания; никто не слышал, что они сказали друг другу. Часа в три дня трубач вернулся домой; к этому времени отец ушёл на рыбную ловлю, на плите стоял

вскипячённый чайник, коттедж сиял, словно новенькая булавка. С этого дня отставной гусар прожил пять лет у моего отца: присматривал за домом, ухаживал за деревьями в саду. С каждым годом он всё больше слабел, его странности становились заметнее, как в манерах, так и в движениях. Отец с болью наблюдал это медленное угасание, однако молчал. С первой и до последней минуты он ни словом не помянул барабанщика Джона Кристиана. В свою очередь, от того не было ни писем, ни вестей.

* * *

Остальному вы вольны верить или нет, как вам будет угодно, сэр. Мой отец клялся, что готов подтвердить истинность этой истории перед судом присяжных. Ещё он говорил, что никогда бы не смог придумать что-либо подобное сам, и начисто отвергал разные здравые объяснения. Ну, вам судить.

* * *

Отец рассказывал, что как-то в три утра четырнадцатого апреля тысяча девятьсот четырнадцатого года они вместе с Вильямом Таллифером сидели в этой комнате, совсем как мы с вами. Отец только встал и при свете газового рожка чинил сеть, с которой собирался отправиться днём на рыбную ловлю. Трубач ещё не ложился. Последнее время он всё чаще проводил ночи (да и дни тоже), подрёмывая в высоком кресле, в котором сейчас сидите вы, сэр. Опустив голову на грудь, он дремал, когда слышался стук в дверь и в дом вошёл молодой человек в военной форме.

За время отсутствия он вырос и возмужал; лицо его было пепельно-серым, однако это был наш барабанщик, Джон Кристиан. Форма его отличалась от той, которую он носил раньше, в петлице тускло мерцала медная цифра «38».

Барабанщик прошёл мимо отца, словно не замечая его, остановился возле кресла и произнёс:

— Трубач, друг, ты идёшь со мной?

В тот же момент старый гусар открыл глаза и отвечал:

— Как я могу не пойти с тобой, барабанщик Джонни, Джонни-дружище? Солдаты терпеливы; я ждал, когда ты придёшь. Пока ты сражался, я считал дни до твоего возвращения.

— Я вернулся сегодня, — проговорил барабанщик, — и наше слово отныне не «Коруна».

Шагнув к камину, он снял с крюка инструменты и начал поворачивать кольца замка, проговаривая вслух слово: «К-О-Р-У-Н-А». Когда он установил последнюю букву, замок распался в его руках.

— В Плимуте меня определили в пехотный, полк, старина.

— Тридцать восьмой — превосходный полк, — своим обычным глуховатым голосом отозвался старый гусар. — Я прошёл с ними от Саагана до Корунны. В Корунне они защищали правый фланг, вместе с дивизией генерала Фрезера. Они храбро стояли.

— Моё сердце осталось с морем, — печально сказал барабанщик, протягивая товарищу трубу. — Тебе предстоит сослужить последнюю службу своему королю. Мэттью! — Он неожиданно повернулся, и мой отец увидел тонкую струйку крови, вытекавшую из круглого отверстия в его груди. — Мэттью, нам понадобится твоя лодка.

Как во сне, мой отец поднялся, пока они прилаживали свои инструменты: один — свой барабан, другой — трубу. С фонарём в руке он вышел из дома и начал спускаться к берегу, а они тяжело дышали за его спиной. Все трое сели в лодку, отец отчалил.

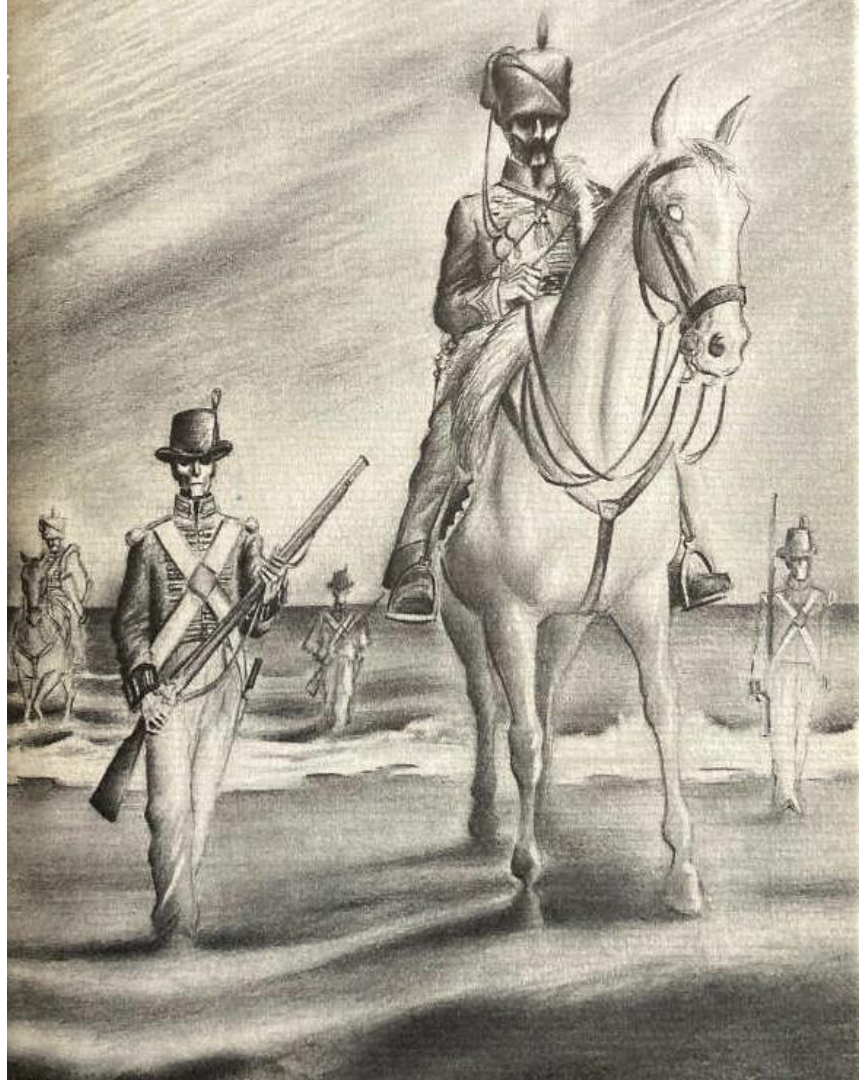
— К косе Долор-Пойнт, — приказал барабанщик, и отец послушно налёг на вёсла, оставляя далеко за кормой белые домики Коверака. Возле косы он перестал грести, и трубач Вильям Таллифер поднёс к губам свой инструмент. Сигнал общего сбора раскатился в воздухе подобно горному потоку.

— Они придут, — проговорил барабанщик. — Мэттью, греби к Железному рифу.

Возле Железного рифа они причалили лодку к скале Каирн-Дю; барабанщик достал свои палочки. Сухая дробь пронеслась над волнами, словно боевая колесница.

The Horror on the Stair

A. Quiller-Couch



— Они услышали и придут, — сказал он, опуская на дно лодки свой инструмент. — Мэттью, нас ждут на Канонирском поле.

На берегу все трое вышли из лодки и стали подниматься по полю; возле ограды барабанщик остановился, снова достал свои палочки.

У отца перехватило дыхание, когда прогремели первые звуки дробы. Из темноты, со стороны моря, потянулись вереницы мертвецов, пеших и конных, в красных и голубых мундирах; они выходили на берег и строились среди могил. Другие поднимались среди надгробий, пошатывались и вставали в строй — утопшие моряки с бледными лицами и гусары, словно тени, скользящие на своих лошадях. Не раздавалось ни бряцанья оружия, ни стука копыт, но всё время слышался мягкий шелест, как от движения крыльев птиц. Барабанщик стоял на могильной насыпи внутри кладбищенской ограды; рядом замер трубач, руки по швам, глаза наблюдают за построением. Отец спрятался за их спинами, возле ограды. Когда мертвецы построились и тени перестали появляться из темноты, барабанщик перестал играть дробь. Вперёд выступил трубач.

— Старший сержант Томас Айронс! — выкликнул он стоявшего первым в шеренге гусара.

— Здесь! — прошелестел тихий ответ.

— Старший сержант Томас Айронс, как принял ты свою смерть?

— Как принял смерть? — голос мертвеца терялся в шёпоте волн. — Мне довелось обмануть девушку, предать друга в прошедшей жизни, и за эти преступления мне придётся держать ответ. Но смерть я принял, как подобает мужчине. Боже, храни короля!

Трубач вызвал следующего.

— Рядовой Генри Бакингэм!

И следующий мертвец отвечал:

— Здесь!

— Рядовой Генри Бакингэм, как принял ты свою смерть?

— Как принял смерть? Я пьянствовал, воровал в прошлой жизни; в винном погребке в Луго я проткнул ножом

человека. Но я умер и принял смерть, как подобает мужчине. Боже, храни короля!

Трубач обошёл весь строй, и, когда закончил, его место занял барабанщик. Тот же вопрос был задан каждому из морских пехотинцев. Каждый отвечал: «Здесь», когда выкликали его имя, и каждый заканчивал словами: «Боже, храни короля!».

Завершив переключку, барабанщик снова поднялся на могильную насыпь и произнёс:

— Мы скоро вернёмся, и расчёт будет полным. Ждать осталось совсем немного.

После этого он повернулся к отцу и приказал везти их обратно в дом. Шеренги мёртвых солдат колыхались, мутнели, провожая их дружным «Боже храни короля!», пока наконец все мертвецы не слились с темнотой, растворившись в ней, словно плёнка дыхания на поверхности зеркала.

На кухне отец поставил фонарь на стол, безуспешно попытавшись возобновить прерванную починку сети. Его спутники, казалось, забыли о нём. Барабанщик подкрутил поярче фитиль — кровь продолжала сочиться из круглого отверстия в его груди, — тщательно установив внутри замка буквы. Закончив, он сказал:

— Вместо «Коруны» пусть будет «Байона». Ты выбросил «н» из Корунны, я выбрасываю «н» из Байонны.

Перед тем как защёлкнуть замок, он медленно проговорил это слово: «Б-А-Й-О-Н-А». Молча повернувшись, он повесил инструменты обратно на крюк, затем взял трубача под руку, и оба шагнули в темноту, не оглядываясь по сторонам.

Отец был готов последовать за ними, когда услышал чей-то вздох за спиной: в кресле возле камина сидел трубач, который только что вышел из дома! Можете себе представить, что почувствовал в этот момент мой отец. Приблизившись к креслу, он наклонился над спящим. Перед ним был трубач во плоти и крови: телесная оболочка сохраняла тепло, сам же трубач был мёртв.

* * *

Похоронили его три дня спустя. Поначалу отец и не думал рассказывать о той ночи: сказать по правде, он счёл её сном. Однако на следующий день после похорон ему повстречался патер Кендалл, возвращавшийся с хелстонского рынка. Священник окликнул отца:

— Слыхали новость, которую привезли с сегодняшней почтой?

— Что за новость? — вежливо поинтересовался отец.

— Союзники заключили мир.

— Долго же они раскачивались, — пробормотал мой родитель.

— Даже слишком, особенно для наших ребят в Байонне.

— Байонна! — Отец чуть не подпрыгнул от неожиданности.

— Ну как же! — И патер Кендалл рассказал ему об успешной вылазке французов, которую они предприняли в ночь на 14 апреля.

— Скажите, в боевых действиях не участвовал Тридцать восьмой полк? — спросил отец.

— Эге, — удивился священник, — я и не знал, что вы так внимательно следите за этой кампанией. Могу уверить вас, что этот, полк точно участвовал, ведь благодаря их стойкости французы не пробились дальше.

Тут мой отец прикусил язык; неделю спустя он сам сходил в Хелстон, купил «Британский вестник» и упросил хозяина тамошней книжной лавки прочитать ему вслух список убитых и раненых, среди которых оказалось и имя Джона Кристиана, барабанщика Тридцать восьмого пехотного полка.

После такого известия для набожного человека было вполне естественно облегчить на исповеди свою душу. Отец отправился к патеру Кендаллу и рассказал ему всю историю. Тот выслушал, задал пару вопросов и наконец поинтересовался:

— С той ночи вы не пытались открыть замок?

— Даже не прикасался, — отвечал отец.

— Тогда идёмте и попробуем.

Когда они пришли в коттедж, патер снял инструменты с крюка и повертел в руках замок.

— Он говорил «Байонна»? В слове семь букв.

— Попробуйте выбросить одно «н», как это сделал он. — посоветовал отец.

Патер Кендалл набрал «Б-А-Й-О-Н-А»: послышался щелчок, дужка замка открылась.

— Эге! — Патер повертел пальцами кольца, посмотрел на отца. — Вот что я вам скажу. На вашем месте я не стал бы попусту болтать об этой истории. Поверить вам вряд ли кто поверит, а славу пустомели вы точно приобретёте. Если хотите, я запечатаю замок святым словом, которое никто не будет знать, кроме меня, и ни трубач, ни барабанщик — ни мёртвые, ни живые — не смогут больше воспользоваться своими инструментами.

— Огромное вам спасибо., если только это удастся, — обрадовался отец.

Патер подобрал своё слово, замкнул замок и повесил барабан с трубой обратно на их место. С тех пор прошло много лет, священник давно умер, прихватив с собой в могилу слово. И кроме как силой, никто не разлучит этих близнецов.

The Roll-Call of the Reef, 1895

Перевод: А. Бутузов

Иллюстрация: П. Лоу

Пара рук

— Да, — ответила мисс Ле Петит, глядя в глубокий камин и позволяя своим рукам и вязанию некоторое время бездельничать на коленях. — О да, я видела привидение. На самом деле, я довольно долго жила в доме с одним из них.

— Как вы могли... — начала одна из дочерей моего хозяина, и в ту же минуту другая воскликнула: — Вы, тётя Эмили?

Мисс Ле Петит, добрая душа, отвела её от камина и запротестовала с весёлой улыбкой.

— Ну, мои дорогие, я не совсем трусишка, за которую вы меня принимаете. И, как оказалось, мой был самым безобидным призраком в мире. На самом деле... — и тут она снова посмотрела на огонь, — мне было очень жаль её потерять.

— Значит, это была женщина? Я думаю, — сказала мисс Бланш, — что женские призраки — самые ужасные из всех. Они носят маленькие туфельки на высоких красных каблуках и ходят, постукивая, заламывая руки.

— Эта, конечно, заламывала руки. Но я не знаю, как насчёт высоких красных каблуков, потому что я никогда не видел её ног. Возможно, она была похожа на королеву Испании, и у неё их не было. А что касается рук, то тут всё сложно. Например, в Найтсбридже есть пожилой лавочник...

— Послушайте, дорогая, вы вель прекрасно знаете, что мы просто умираем от любопытства узнать эту историю.

Мисс Ле Петит повернулась ко мне с лёгким осуждающим смешком.

— Она такая маленькая.

— История или призрак?

— И то, и другое.

После чего она поведала нам свою историю. Вот она.

— Это случилось, когда я жила в Корнуолле, в Тресиллаке, на южном побережье. Тресиллак — так назывался дом, стоявший совершенно одиноко в начале узкой долины, в пределах слышимости шума моря; хотя долина вела вниз к

широкому открытому пляжу, она петляла и извивалась полдюжины раз на своём пути, а холмы, между которыми она петляла, закрывали вид моря из дома, который рекламировался как «уединённый». В те дни я была очень бедна. Ваш отец и все мы тогда были бедны, как, я надеюсь, мои дорогие, вы никогда не будете; но я была достаточно молода, чтобы быть романтической, и достаточно мудра, чтобы любить независимость, и это слово «уединённый» привлекло моё внимание.

Несчастье заключалось в том, что он не приглянулся или просто не соответствовал требованиям нескольких предыдущих жильцов. Вам известны люди, которые снимают уединённый дом за городом? Ну да, есть несколько типов, но они, кажется, сходятся в том, что они одиозны. Никто не знает, откуда они берутся, хотя вскоре они устраняют все сомнения относительно того, куда они «уходят», говорят дети. «Сомнительные» — подходящее слово, не так ли? Что ж, предыдущие жильцы Тресиллака были сомнительны вдвойне.

Я ничего не знала об этом, когда впервые обратилась к землевладельцу, солидному йомену, живущему на ферме у подножия холмов, на утёсе, возвышающемся над пляжем.

Я бесстрашно представила себя ему старой девой из приличной семьи с небольшим, но гарантированным доходом, намеревающейся вести сельскую жизнь, сочетающей в себе скромность и экономию. Он встретил мои слова достаточно вежливо, но с подозрением, которое меня оскорбило. Я начала с того, что невзлюбила его за это; впоследствии я определила это как неприятную черту местного характера. Я ошиблась вдвойне. Фермер Хоскинг был тугодумом, но исключительно честным человеком, а более открытых и гостеприимных людей, чем люди на этом побережье, я никогда не встречала. Это была осторожность ребёнка, который обжёт пальцы, и не один раз, а много. Если бы я знала то, что узнала впоследствии о невзгодах фермера Хоскинга как владельца «уединённой загородной резиденции», я подошла бы к нему с подобающей моему костюму застенчивостью, вместо того чтобы предстать ярким исключением в длинной череде его болезненных переживаний. Он купил поместье Тресиллаков двадцать лет назад, — по-моему, по закладной, — потому что земля примыкала к его

собственной. Но дом был неприятным инкубом, и так было с самого начала.

— Что ж, мисс, — сказал он, — пожалуйста, осмотрите его; довольно красивое место, внутри и снаружи. С ключами проблем не возникнет, потому что я нанял экономку, вдову, и она вам всё покажет. — Когда я поблагодарила его, он сделал паузу и потёр подбородок. — Но есть одна вещь, которую я должен вам сказать. Тот, кто арендует дом, должен смириться с пребыванием в нём миссис Каркик.

— Миссис Каркик? — печально повторил я. — Это экономка?

— Да, она была женой моего покойного работника. Мне очень жаль, мисс, — добавил он, и моё лицо, без сомнения, сказало ему, какой женщиной я ожидала увидеть миссис Каркик, — но я должен был взять это за правило после... после некоторых событий, которые произошли. И я осмелюсь сказать, что вы не найдёте её такой уж плохой. Мэри Каркик — разумная, спокойная женщина и знает это место. Она служила там у сквайра Кендалла, когда он продал дом и уехал: это было её первое место.

— Во всяком случае, я могу осмотреть дом, — уныло сказала я. Итак, мы начали подниматься по долине. Тропинка, идущая вдоль небольшого журчащего ручья, была по большей части узкой, и фермер Хоскинг, извинившись, зашагал вперёд, чтобы раздвигать ежевику. Но всякий раз, когда ширина тропы позволяла нам идти бок о бок, я видела, как он время от времени украдкой бросал робкий пытливый взгляд на меня из-под своих грубых бровей. Хотя он держался вежливо, было ясно, что он не может понять меня или привести в соответствие со своими представлениями об арендаторе его «уединённой загородной резиденции».

Не знаю, какая глупая фантазия побудила меня к этому, но примерно на полпути вверх по долине я остановилась и спросила:

— Полагаю, там нет призраков?

Через мгновение после того, как я это произнесла, мне показалось, будто этот в высшей степени глупый вопрос он воспринял вполне серьёзно.

— Нет, я никогда не слышал ни о каких привидениях, — он сделал странное ударение на этом слове. — Со слугами всегда были проблемы, а у служанок языки без костей. Но Мэри Каркик живёт там одна, и ей, кажется, вполне комфортно.

Мы пошли дальше. Вскоре он указал тростью.

— Это не похоже на место для привидений, не так ли?

Конечно, оно не было похоже. Я увидела площадку из дёрна, усеянную колючими кустами, а над ней — каменную террасу, на которой стоял самый красивый коттедж, какой я когда-либо видела. Он был длинный, низкий и крытый соломой; из конца в конец тянулась глубокая веранда. Клематисы, розы и жимолость взбирались по столбам этой веранды, а большие цветы маршала Нила громоздились вдоль неё, под решётками окон спальни. Дом был достаточно мал, чтобы его можно было назвать коттеджем, и достаточно необычен своими особенностями и обстановкой. Это наводило на мысль о том, что в те дни мы должны были бы назвать «элегантной» жизнью. И я готова была захлопать в ладоши от радости.

Моё настроение стало ещё лучше, когда миссис Каркик открыла нам дверь. Я увидела перед собой здоровую женщину средних лет с задумчивым, но довольным лицом и улыбкой, которая без тени подобострастия вполне соответствовала описанию фермера. Она была приятной женщиной, и пока мы вместе ходили по комнатам (ибо мистер ждал снаружи) я «привязалась» к миссис Каркик. Её речь была прямой и практичной; комнаты, несмотря на выцветшую мебель, были светлыми и изысканно чистыми; каким-то образом самая атмосфера дома давала мне ощущение благополучия, ощущения уюта и заботы; того, что меня любят. Не смейтесь, мои дорогие, потому что, когда я закончу, вы, возможно, не сочтёте эту фантазию совершенно глупой.

Я вышла на веранду, и фермер Хоскинг сунул в карман нож для обрезки, которым резал куст жасмина.

— Это лучше, чем я могла мечтать, — сказала я.

— Ну, мисс, это не самый мудрый способ заключить сделку, если вы меня извините.

Однако он не воспользовался моим признанием, и мы заключили сделку, когда возвращались по долине на его ферму,

где нанятая коляска должна была отвезти меня обратно в рыночный город. Я собиралась нанять собственную горничную, но теперь мне пришло в голову, что с миссис Каркик мне будет очень хорошо. Это тоже было обговорено в течение следующего дня или двух, и в течение недели я переехала в свой новый дом.

Я едва ли могу описать вам счастье моего первого месяца в Тресиллаке, потому что (как я теперь верю), если я стану перечислять причины, по которым была счастлива, одну за другой, останется что-то, что я не могу объяснить. Я была в меру молода, совершенно здорова; я чувствовала себя независимой и предприимчивой; сезон был в разгаре, погода великолепная, сад во всей пышности июня, но всё же достаточно неопрятный, чтобы занять меня, дать мне острый аппетит к еде и отправлять меня в постель в том сонном оцепенении, которое приходит от запахов земли. Большую часть времени я проводила на свежем воздухе, завершая дневную работу, как правило, прогулкой по прохладной долине, вдоль пляжа и обратно.

Вскоре я обнаружила, что всю домашнюю работу можно спокойно оставить миссис Каркик. Она почти не разговаривала; действительно, её единственным недостатком (редким в домашних хозяйствах) было то, что она говорила слишком мало, и даже когда я обращалась к ней, иногда казалось, что она не в состоянии уделить мне своё внимание. Как будто её мысли отвлекались на какую-то мелкую работу, о которой она забыла, а глаза смотрели внимательно, как будто она ждала, что забытое внезапно напомнит о себе. Но на самом деле она ничего не забывала. В самом деле, мои дорогие, никогда в жизни за мной так хорошо не ухаживали.

Ну, к этому я и подхожу. В этом, так сказать, всё дело. Женщина не только подметала и вытирала пыль в комнатах, но и готовила замечательные блюда.

В сотне странных маленьких способов эта упорядоченность, эти приготовления, казалось, читали мои желания. Я хотела, чтобы свежие розы стояли в вазе на обеденном столе, и, конечно же, во время следующей трапезы они были свежими. Миссис Каркик (сказала я себе), должно быть, поймала и поняла мой взгляд. И всё же я не могла припомнить, чтобы в её

присутствии смотрела на вазу. И как, чёрт возьми, она угадала те самые розы, те самые формы и цвета, о которых я так легкомысленно думала? Это всего лишь пример, понимаете? Каждый день, с утра до ночи, случались другие, достаточно незначительные, но все вместе свидетельствующие об интеллекте, столь же тонком, сколь и неутомимом.

Я сплю чутко, как вы знаете, с неудобной привычкой просыпаться с солнцем и выходить на утреннюю прогулку. Как бы рано я ни встала в Тресиллаке, миссис Каркик всегда опережала меня. В конце концов, мне пришлось сделать вывод, что она вставала, вытирала пыль и прибиралась, когда была уверена, что не потревожит меня. Как-то раз гостиная (где я засиделась допоздна) «покраснела» в четыре утра, от тарелки с малиной, которую я принесла туда после обеда и оставила на ночь, не осталось и следа, и я пошла на кухню, позвав её по имени.

Я нашла кухню чистой, как булавка, камин был разожжён, но самой миссис Каркик не было. Я поднялась наверх и постучала в дверь её комнаты. При втором стуке раздался сонный голос, и вскоре добрая женщина стояла передо мной в ночной рубашке, выглядя (как мне показалось) очень напуганной.

— Нет, — сказала я, — это не грабитель. Но я узнала то, что хотела, — что вы делаете свою утреннюю работу ночью. Но вы не должны этого делать. Так что можете вернуться в свою постель и хорошенько выспаться, пока я сбегаю на пляж.

Она стояла, моргая. Её лицо всё ещё было белым.

— О, мисс, — выдохнула она, — вы что-то видели!

— Так и есть, — ответил я, — но это были не грабители и не привидения.

— Слава Богу! — сказала она, повернувшись ко мне спиной, в своей серой спальне, окна которой выходили на север. Я приняла это за небрежно-благочестивое выражение и побежала вниз, больше не думая об этом.

Через несколько дней я начала понимать.

Планировка Тресиллак Хауса (мне следует это объяснить) была сама по себе проста. Слева от холла находилась столовая, справа — гостиная, за которой располагался будуар.

Подножие лестницы выходило на парадную дверь, а рядом с ней, — пройдя мимо застеклённой внутренней двери, — вы находили две другие, справа и слева; левая дверь вела на кухню, правая — в коридор, который проходил мимо кладовки под изгибом лестницы в другую кладовку с обычными полками и бельевым прессом, а под окном (которое выходило на север) стояла фарфоровая раковина и медный кран. В первое утро моего пребывания в этом доме я посетила эту кладовую и повернула кран, но вода не потекла. Я предположила, что это было случайно. Миссис Каркик должна была мыть посуду, и, без сомнения, пожаловалась бы на любой сбой в водоснабжении.

Но на следующий день после моего неожиданного визита (как я его назвала) я набрала полную корзину роз и отнесла их в кладовую, чтобы перебрать. Я выбрала фарфоровую миску и пошла наполнить её из-под крана. И вода снова не потекла.

Я позвала миссис Каркик.

— Что не так с этим краном? — спросила я. — В остальной части дома все краны работают.

— Я не знаю, мисс. Я никогда им не пользуюсь.

— Но должна же быть какая-то причина, и вам, должно быть, очень неприятно мыть тарелки и стаканы на кухне. Пройдёмте со мной в заднюю часть, и мы посмотрим на цистерны.

— С цистернами всё в порядке, мисс. Уверю вас, я не нахожу это проблемой.

Но меня нельзя было остановить. Задняя часть дома находилась всего в десяти футах от стены, которая на самом деле была всего лишь каменным фасадом, построенным на утёсе, срезанном архитектором. Над утёсом возвышался огород, и с его нижней тропинки мы смотрели через парапет стены на цистерны. Их было две — очень большая, снабжающая кухню и ванную над кухней; и маленькая, очевидно, питаемая другой и, труба от неё, как я могла заметить, вела в кладовую. Большая цистерна стояла почти полная, а маленькая, хотя и на нижнем уровне, была пуста.

— Это ясно как Божий день, — сказала я. — Труба между ними засорилась. — И я вскарабкался на парапет.

— Я бы не стала делать этого, мисс. Из крана в кладовке течёт только холодная вода, и мне она ни к чему. Видите ли, я нагреваю её из кухонного котла.

— Но мне нужна кладовая для моих цветов, — я наклонилась и пощупала. — Я так и думала! — сказала я, выдёргивая толстую пробку, и тут же потекла вода. Я торжествующе повернулся к миссис Каркик, которая внезапно покраснела. Её глаза были прикованы к пробке в моей руке. Для прочности, кто-то обернул её тряпкой из ситца; и хотя она выцвела, мне показалось, я вспомнила узор (веточка сирени). Затем, когда наши глаза встретились, мне пришло в голову, что всего за два утра до этого миссис Каркик была одета в платье с рисунком того же узора в виде веточек.

У меня хватило присутствия духа скрыть это маленькое открытие, сделав какое-то совершенно тривиальное замечание, и вскоре миссис Каркик вновь обрела самообладание. Но, признаюсь, я была разочарована в ней. Это казалось такой ничтожной вещью, чтобы из-за неё лгать. Она намеренно лгала мне; но почему? Просто потому, что она предпочитала кухню крану в кладовке? Это было по-детски.

«Но слуги все одинаковы, — сказала я себе. — Я должна принять миссис Каркик такой, какая она есть, и, в конце концов, она — сокровище».

На вторую ночь после этого, между одиннадцатью и двенадцатью часами, я лежала в постели и сонно читала роман лорда Литтона, когда меня потревожил тихий звук. Я прислушалась. Звук был явно звуком капающей воды, и я подумала, что идёт дождь. Вода (сказала я себе) наполнила водопроводные трубы, по которым стекала с крыши. Мне почему-то мешал этот звук. У стены прямо за моим окном была водопроводная труба. Я встала и подняла жалюзи.

К моему удивлению, никакого дождя не было. Я ощупала подоконник; на нём собралось немного росы. Не было ни ветра, ни облачка; только неподвижная луна высоко над восточным склоном долины, далёкий плеск волн и аромат множества роз. Я вернулась в постель и снова прислушалась. Да, журчание продолжалось, совершенно отчётливо в тишине дома, и его ни на мгновение нельзя было спутать с унылым

шумом пляжа. Через некоторое время это начало действовать мне на нервы. Я схватила свечу, накинула халат и тихо спустилась вниз.

Всё оказалось просто. Я проследила звук до кладовки.

— Миссис Каркик оставила кран открытым, — сказала я, и, конечно же, нашла его таким — с тонкой струйкой, неуклонно стекающей в фарфоровую раковину. Я закрыла кран, с довольным видом вернулся в постель и проспала...

...несколько часов. Я открыла глаза в темноте и сразу поняла, что меня разбудило. Кран снова был открыт. Я закрыла его собственноручно, и не могла поверить, чтобы он снова открылся сам по себе.

«Это дело рук миссис Каркик, — сказала я и, боюсь, добавила: — Чёртовой миссис Каркик!»

Ну, тут уж ничего не поделаешь: я зажгла свет, посмотрела на часы, увидела, что было всего три, и снова спустилась по лестнице. У двери в кладовую я остановилась. Я не боялась — ни капельки. На самом деле мысль о том, что что-то может быть не так, никогда не приходила мне в голову. Но я помню, как подумала, положив руку на ручку, что, если бы миссис Каркик была в кладовке, я могла бы сильно напугать её.

Я резко распахнула дверь. Миссис Каркик там не было. Но что-то было там, возле фарфоровой раковины, что-то, что могло бы заставить меня бежать вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз, но что на самом деле удержало меня на месте. Моё сердце, казалось, замерло! Я помню, как в тишине поставила медный подсвечник на высокий ящик рядом со мной.

Над фарфоровой раковиной и под струящейся из крана водой я увидела две руки.

Вот и всё — две маленькие ручки, детские ручки. Я не могу сказать, чем они заканчивались.

Нет, они не были отрезаны. Я видела их совершенно отчётливо; только пара маленьких рук и запястья, и после этого — ничего. Они двигались быстро — мылись дочиста. Я видела, как вода струится и плещется на них — не сквозь них, а так, как это было бы с настоящими руками. Это были руки маленькой девочки. О да, я сразу же в этом убедилась. Мальчики

и девочки моют руки по-разному. Я не могу сказать вам, в чём разница, но это так.

Я видела всё это до того, как моя свеча соскользнула и с грохотом упала. Я осторожно подняла её, не отрывая глаз от раковины, и поставила на край комода. После падения, в темноте, с текущей водой, я пережила несколько неприятных моментов.

Как ни странно, меня больше всего занимала мысль о том, что я должна закрыть этот кран, прежде чем сбежать, — я должна была это сделать. И через некоторое время я собрала всё своё мужество, так сказать, стиснув зубы, с лёгким всхлипом протянула руку и сделала это. Потом я сбежала.

Рассвет был близок, и как только небо покраснело, я приняла ванну, оделась и спустилась вниз. И там, у двери в кладовую, я увидела миссис Каркик, тоже одетую, с моим подсвечником в руке.

— А, — сказал я, — вы его подобрали.

Наши глаза встретились. Очевидно, миссис Каркик хотела, чтобы начала я, и я решила немедленно поговорить с ней.

— Вы всё об этом знали. Вот чем объясняется то, что вы заткнули цистерну.

— Вы видели... — начала она.

— Да, да. И вы должны рассказать мне всё об этом — важно, насколько эта история плоха. Это... это... убийство?

— Благослови вас Господь, мисс, что навело вас на такие ужасы?

— Она мыла руки.

— Ах, так и есть, бедняжка! Но — убийство! И милая маленькая мисс Маргарет, она и мухи не обидит!

— Мисс Маргарет?

— Да, она умерла в семь лет. Единственная дочь сквайра Кендалла, и это было более двадцати лет назад. Я была её сиделкой, мисс, и я знаю — это был дифтерит; она заболела им в деревне.

— Но откуда вы знаете, что это Маргарет?

— Эти руки — как я могу ошибиться, если была её няней?

— Но почему она их моет?

— Ну, мисс, она всегда была чистоплотным ребёнком — и, видите ли, занималась домашним хозяйством...

Я глубоко вздохнула.

— Вы хотите сказать, что вся эта уборка, вытирание пыли... — Я замолчала. — Это она так обо мне заботилась?

Миссис Каркик твёрдо встретила мой взгляд.

— Кто же ещё, мисс?

— Бедняжка!

— Ну что ж, — миссис Каркик потёрла мой подсвечник краем фартука, — я рада, что вы так к этому относитесь. Ведь на самом деле бояться нечего, не так ли? — Она задумчиво посмотрела на меня. — Я уверена, что она любит вас, мисс. Но подумать только, сколько ей пришлось вытерпеть от других!

— Они были плохие?

— Они были ужасны. Разве фермер Хоскинг не сказал вам? Они боялись — все, и каждый из них был хуже предыдущего.

— Что с ними случилось? Пьянство?

— Пьянство, мисс, с некоторыми из них. Там был майор — он сходил с ума от этого и бегал по долине в ночной рубашке. Возмутительно! И его жена тоже пила — если, конечно, она когда-либо была его женой. Только подумайте об этом нежном ребёнке, моющем посуду после их мерзких поступков!

Но это было ещё не самое худшее, мисс, — далеко не самое худшее. Здесь была пара — из колоний, по крайней мере, так они говорили — с двумя детьми, мальчиком и девочкой, старшему из которых было шесть лет. Бедные дети!

Они били этих детей, мисс — ваша кровь закипела бы! — и морили их голодом, и пытали, я в это верю. Мне говорили, что их крики были слышны даже дороге, а это более полумили отсюда.

Иногда они целыми днями сидели взаперти без еды. Но я верю, что маленькой мисс Маргарет каким-то образом удавалось их накормить. О, я вижу, как она подкрадывается к двери и утешает их!

Но, возможно, она никогда не показывалась, когда эти ужасные люди были здесь, а сбежала, пока они не ушли.

Вы никогда не знали её, мисс. Какой же она была храброй! Она бы противостояла львам. Она была здесь всё это время, и только подумать, что, должно быть, видела и слышала! Была ещё одна пара... — Каркик повысила голос.

— О, тише, — сказал я, — иначе я никогда не смогу чувствовать себя спокойно в этом доме!

— Но вы не уйдёте, мисс? Она любит вас, я знаю, что любит. И подумайте, на кого вы её оставляете — какой арендатор может снять дом в следующий раз. Потому что она не может уйти. Она живёт здесь с тех пор, как её отец продал дом. Вскоре он умер. Вы не должны уходить!

Я решила уйти, но внезапно почувствовал, насколько подлым было это решение.

— В конце концов, — сказал я, — бояться нечего.

— Вот именно, мисс, совсем ничего. Я даже не верю, что это так уж необычно. Я слышала, как моя мать рассказывала о фермерских домах, где комнаты подметали каждую ночь, полы натирали, а кастрюли и сковородки чистили, и всё это, пока служанки спали. Они приписывают это пикси, но нам лучше знать, мисс, и теперь, когда у нас с вами есть общий секрет, мы можем спокойно спать в наших кроватях, а если вы что-нибудь услышите, скажите: «Боже, благослови ребёнка!».

Я провела три года в Тресиллаке, и всё это время миссис Каркик жила со мной. Осмелюсь сказать, немногие женщины ладили между собой так, как мы в течение этих трёх лет.

Я с теплотой вспоминаю свою жизнь там: она поправляла мою подушку, убирала и делала мой стол красивым, летом поднимала головки цветов, когда я проходила мимо, а зимой смотрела вместе со мной на огонь и поддерживала его ярким.

Почему я вообще покинул Тресиллак? Потому что однажды, по прошествии пяти лет, фермер Хоскинг сообщил мне, что продал дом — или собирался продать его, я забыла, что именно. Во всяком случае, избежать этого было невозможно: покупателем был полковник Кендалл, брат старого сквайра.

— Женатый мужчина? — спросила я.

— Да, мисс, с семьёй из восьми человек. Такие же хорошенькие дети, как и все, а мать — добрая леди. Это старый дом полковника Кендалла.

— Я понимаю. И именно поэтому вы чувствуете себя обязанным продать его.

— Он предлагает хорошую цену. Вы не должны думать, что это легко, и мне жаль...

— Выгонять меня? Благодарю вас, мистер Хоскинг, но вы поступаете правильно. Она... Маргарет — будет счастлива, — сказала я, — со своими кузенами.

— О да, мисс, конечно, она будет счастлива, — согласилась миссис Каркик.

Поэтому, когда пришло время, я собрала свои коробки и постаралась выглядеть весёлой. Но в последнее утро, когда мы стояли в коридоре, я под каким-то предлогом отослал миссис Каркик наверх и одна вошла в кладовую.

— Маргарет! — прошептала я.

Ответа не было. Я едва смела надеяться. И всё же я попробовала ещё раз и, на этот раз закрыв глаза, протянула обе руки и прошептала:

— Маргарет!

И я готова поклясться, что две маленькие ручки коснулись и задрожали — только на мгновение — в моих.

A Pair of Hands, 1898
Перевод: С. Тимофеев

Седьмой человек

В расположенной высоко за Полярным кругом, всего лишь немного южнее восьмидесятой параллели, хижине сидело шестеро мужчин — вечер за вечером, на протяжении многих месяцев. У них имелся хронометр, дабы отмерять часы дневные и ночные. На самом деле вокруг всегда была ночь. Но хронометр показывал половину девятого, и они именовали текущее время вечером.

Хижина была построена из брёвен, с внутренней обшивкой из грубой шпунтованной доски, обмазанной смолой. Одна комната, размером семнадцать на четырнадцать футов; однако четыре койки напротив двери (две сверху и две снизу) отнимали у длины целый ярд, что делало помещение точно квадратным. У каждой из этих коек было по паре дверок с медными защёлками с внутренней стороны, так что владелец, если бы захотел, мог запереться и заснуть в чём-то вроде шкафа. Но, как правило, закрывали только одну из них — прикрывавшую ноги. Другую откидывали наружу, показывая медную защёлку. Защёлки содержались в блестящем состоянии.

Поперёк угла слева от двери, скрываясь за ней при открытии, были подвешены три гамака, один над другим. Самый верхний из них пустовал.

Но особенностью хижины был камин, представлявший собой квадратный камень для очага, слегка приподнятый над полом в середине комнаты. На нём, на растущей горе мягкого серого пепла, всегда горел огонь. Дымохода не было, и поэтому люди не теряли ни капли тепла. Дым устремлялся вверх и густыми синими слоями стелился под почерневшими балками и досками крыши. Но примерно в восемнадцати дюймах под коньком крыши тянулся ряд маленьких люков с раздвижными панелями, пропускавшими холодный воздух, и посему дыма в комнате почти не оставалось. У новичка, возможно, защипало бы глаза, но привыкшие обитатели чинили свою одежду или читали почти с комфортом. Чтобы поддерживать постоянную тягу, они заткнули каждую щель в обшивке и под

люками мхом и заделали швы смолой. Огонь подкармливали из груды дров, сложенных справа от двери, а на замёрзшем пляже снаружи было полно топлива — целые деревья, разрубленные на куски топорами дровосеков и прибывшие неизвестно с какого континента. А ещё обломки их собственного корабля «Дж. Р. Макнилл», доставившего их из Данди²¹.

Их, то есть Александра Уильямсона из Данди, более известного как «Старик»; Дэвида Фаэда, также из Данди; Джорджа Лэшмана из Кардиффа; Длинного Ида из Хейла, что в Корнуолле; Чарльза Силчестера, иначе «Бекаса», с Рэтклиффской дороги²² или где-то около; и Дэниела Куни, нанятого в Тромсе за шесть недель до крушения, ирландца по происхождению, взявшегося неизвестно откуда.

Старик откинулся на своей койке, читая при свете дымной и дурно пахнущей лампы. Он был помощником капитана «Дж. Р. Макнилла», а теперь сам стал капитаном, а также патриархом компании. У него было три книги — Библия, «Потерянный рай» Мильтона и потрепанный том «Турецкого шпиона»²³. Сейчас он читал «Турецкого шпиона». Свет лампы отражался на оправе очков и серебристых волосах в бороде, спрятанной под краем одеяла. Его губы шевелились в процессе чтения, и время от времени он прерывался, чтобы коротко взглянуть на Фаэда и Бекаса, возившихся у огня с засаленной колодой карт; или послушать раздражённое бурчание Лэшмана на койке под ним. Шесть недель назад Лэшман слёг с цингой и беспрестанно ныл; и хотя его товарищи старались не обращать внимания, жалобы играли на нервах, подобно ржавому смычку на струнах расстроенной скрипки, причиняя вред, койкий до сих пор не смогли причинить ни горький холод, ни тяжёлая работа, ни безжалостное одиночество. Длинный Ид

²¹ Данди — четвёртый по величине город в Шотландии.

²² Любопытно, что в известном преступлении 1811 года — Убийства на Рэтклиффской дороге — было ровно семь жертв.

²³ «Письма, написанные турецким шпионом» (фр. «L'Espion Turc») это восьмитомное собрание вымышленных писем, как утверждает, написанные османским шпионом при дворе Людовика XIV по имени Махмут.

лежал, растянувшись у огня, на связке шкур, читая свою единственную книгу, Библию, открытую сейчас на Песне Соломона. Куни закончил латать брюки и свернулся в гамаке, откуда уставился на крышу и лунный свет, проникавший через маленькие люки и рассеивающий клубы дыма. Всякий раз, когда Лэшман снова начинал стонать от жалости к себе, кулаки Куни сжимались и разжимались, пока ногти не впивались в ладонь.

Наконец он раздражённо прикрикнул:

— О, прекрати это, Джордж! Будь мужчиной!..

И оборвал себя, резко и коротко: раскаиваясь и осуждаемый молчанием остальных. Все они были хорошими моряками, и доброе отношение к больному товарищу по команде было частью их негласного кодекса.

Голос Лэшмена, более брюзжащий, чем когда-либо, прорезал тишину, словно нож:

— Конечно. Ты думал об этом несколько недель, а теперь тебя прорвало. Я знал это с самого начала. Я просто обуза, и чем скорее ты от меня избавишься, тем лучше, таковы твои слова. Не нервничай. Я скоро выйду отсюда... и лягу там, рядышком с Биллом...

— Полегче там, приятель! — Бекас оглянулся через плечо и положил карты рубашкой вверх. — Давай, я заправлю твою кровать. Это тебя малость успокоит.

— Ты хочешь сказать, что это заставит меня замолчать. Какая самоотверженность, ты так заботаешься обо мне, как и все вы!

— Чушь не пори! Дэн ничего плохого не думал. — Бекас просунул руку под голову больного и поправил подушку из шкур и оружейных мешков.

— Не думал ничего такого, да? Пусть он тогда сам это скажет...

Старик продолжал читать, его губы беззвучно шевелились. Одному богу известно, зачем он приобрёл эту затёртую, запятнанную и грязную книжку малого формата с гербом Саумареса на обложке.

«Шестой том писем, написанных турецким шпионом, которого сорок пять лет не раскрывали в Париже. Беспристрастный отчёт Дивану в Константинополе о самых важных событиях в Европе и раскрытие множества интриг и секретов христианских дворов (особенно Французского)» и т. д., и т. д. «Написано первоначально на арабском языке. Переведено на итальянский, а оттуда на английский переводчиком первого тома. Одиннадцатое издание. Лондон. Напечатано для Г. Страхана, С. Балларда» — и ещё десятка книгопродавцев — «MDCCLXI».

Бог знает, зачем он читал это; ибо понимал из всего примерно половину, а восхищался менее чем одной десятой. Восточные размышления казались ему в основном богохульными. Впрочем, религиозные убеждения Старика обрекали на гибель девять десятых человечества, что, возможно, делало его терпимей. Во всяком случае, он продолжал сосредоточенно читать, временами затягиваясь из короткой глиняной трубки.

«19-го числа сего месяца король и весь двор присутствовали на балете, представляющем величие французской монархии. Примерно в середине представления двенадцать ряженых в костюмы, видимо, демонов исполняли старинный танец. Но прежде чем они продвинулись далеко в своём танце, среди них обнаружился незваный гость, увеличивший число их до тринадцати, чем совершенно выбил всех из колеи: ибо танцоры заранее отработывают каждый шаг и движение, доводя до совершенства. Посему, смущённые неизбежными ошибками, совершёнными под воздействиями тринадцатого древнего, они замерли неподвижно, подобно глупцам, глядя друг на друга: никто не осмеливался снять маску или сказать хоть слово; ибо сие привело бы зрителей в беспорядок и замешательство. Кардинал Мазарини (главный организатор сих

развлечений, долженствующих отвлечь короля от более серьёзных мыслей) стоял рядом с молодым монархом, держа в руке описание балета. Итак, зная, что танец сей должен был исполняться всего лишь двенадцатью древними, и заметив, что на самом деле их было тринадцать, он сначала приписал это какой-то ошибке. Но впоследствии, когда заметил он замешательство танцоров, то более усердно изучил причину сего беспорядка. Плясуны быстро убедили кардинала, что сие не может быть их ошибкой, продемонстрировав, что у них было всего двенадцать костюмов демонов, сшитых специально для сего балета. Но ещё большей загадкой сделало сие то, когда они пришли за кулисы, дабы снять костюмы и изучить их, то нашли только двенадцать костюмов древних, в то время как на сцене их было тринадцать...»

— Пусть он сам скажет. Пусть скажет, что не хотел этого, мерзкий ирландец!

Куни устало перекинул ногу через край гамака, вылез и, шаркая ногами, направился к койке больного.

— Сожалею, что я так сказал. Понимаешь, я просто лежал там, задумался... в этом безлюдье. Клянусь тебе, Джордж. Давай ты просто смочишь горло, чтобы показать, что нет вражды между нами и что ты мне веришь.

Он поднял с пола рядом с койкой кружку, вытащил из огня раскалённый прут и помешал замёрзшее питьё. Больной раздражённо дёрнул плечом.

— Я сожалею, — повторил Куни. Он поставил кружку и устало поплёлся обратно в гамак.

Старик выпустил внушительный клуб дыма и устался на огонь; на поднимающийся дым и опадающий серый пепел; на Дэвида Фаэда, сдающего карты и облизывающего большой палец после каждой.

Длинный Ид переместился с одного сведённого судорогой локтя на другой и пододвинул Библию поближе к огню, бормоча:

— Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете.

— Фулл-хаус, — объявил Бекас.

— Точно! — Дэвид Фаэд покатал табак за щекой.

Карты были так измяты и изодраны, что по их оборотным сторонам каждый игрок довольно точно угадывал, что на руках у другого. И всё же они продолжали играть ночь за ночью; Бекас виртуозно благословлял или проклинал свою удачу, шотландец был спокоен, как дохлый лев.

— Играй дальше, парень. Что тебя беспокоит? — спросил он.

Бекас уронил обе руки на бёдра и сел, напрягшись и прислушиваясь.

— Там! За дверью...

Все прислушались.

— Я ничего не слышу, — сказал Дэвид секунд через десять.

— Тише, парень, послушай! Вот, опять...

Теперь они слышали. Куни выскользнул из гамака, подкрался к двери и прислушался, пригнувшись, прижав ухо к косяку. Звук напоминал дыхание — или ему так на мгновение показалось. Затем ему почудилось, что какое-то существо осторожно ощупывает дверь — ощупывает корку изо льда и замёрзшего снега.

Куни вслушивался. Они все вслушивались. Обычно, как только они выходили из круга обжигающего огня, дыхание выходило облачками. Теперь оно сочилась из них тонкими струйками пара. Все почти слышали, как мягкий серый пепел падает в очаг.

Треснуло полено. Затем раздался голос больного:

— Это медведи... медведи! Они пришли за Биллом, и теперь моя очередь. Я предупреждал... я говорил, что яма недостаточно глубокая. Господи, помилуй... помилуй... — Он затараторил молитву дрожащим голосом, зубы его стучали.

— Тише! — мягко скомандовал Старик, и Лэшмен поперхнулся.

— Это не медведи, — сообщил Куни, всё ещё прижимая ухо к двери. — По крайней мере... не те медведи, что раньше. Может быть, лисы... дайте мне послушать.

Длинный Ид пробормотал:

— Ловите нам лисиц, лисенят...

— Думаю, ты прав, — Старик взбодрился. — Медведь фырчал бы громче — хотя кто его знает. Час назад шёл снег, и я думаю, что навалило изрядно. Если это медведь, мы ведь не хотим, чтобы он дурачился на крыше, а я подозреваю, что сугроб у северного угла уже довольно высокий. Он всё ещё там?

— Я сразу что-то почувствовал... сквозь щель, здесь... как тёплое дыхание. Теперь его нет. Иди сюда, Бекас, и послушай.

— Дыхание, э? А медведем не воняло?

— Не знаю... Вроде ничего не учуял. Вот, опусти голову, слушай.

Бекас наклонил голову. И в этот момент дверь мягко затряслась. Все замерли; и увидели, как щеколда двигается вверх, вверх... и медленно опускается на скобу. Они услышали щелчок.

Дверь была заперта изнутри двумя крепкими засовами. Те не шевельнулись. Мужчины ждали в болезненной тишине. Но щеколда больше не поднималась.

Бекас, стоя на коленях, посмотрел на Куни. Куни вздрогнул и взглянул на Дэвида Фаэда. Длинный Ид, сидя спиной к огню, осторожно высвободил ноги из-под пледа. Его взгляд искал Старика. Но Старик отпрянул во мрак своей койки, и свет лампы освещал лишь седую бахрому бороды. Однако он заметил взгляд Длинного Ида и, как всегда, спокойно ответил.

— Прихватите пару ружей наверх и осмотритесь. Подготовьтесь, вдруг придётся стрелять. Люк открывается. Я проверял сегодня днём с помощью стамески.

Длинный Ид раскурил трубку, завязал заушники фуражки, снял со скоб лёгкую лестницу и прислонил к балке крыши, затем, с ружьями под мышкой, тихо поднялся наверх. Его голова и плечи качнулись и стали смутно различимы в клубах дыма.

— Слышал что-нибудь ещё? — спросил он.

— С тех пор ничего, — ответил Бекас.

Своим длинным плечом Ид толкнул люк вверх. Все увидели его голову, обрамлённую полосой лунного света, с одной морозной звездой над ней. Он протискивался дальше.

— Кто-нибудь, принесите ему спальный мешок, — приказал Старик, и Куни подбежал с одним из них.

— Спасибо тебе, приятель, — поблагодарил Длинный Ид и закрыл люк.

Все слышали, как его ноги осторожно хрустят настом по крыше. Он двигался к карнизу, следя за дверью. Дыхание участилось. Все ждали ружейного выстрела. Его не последовало. Хруст раздался снова: на самом краю карниза. Затем Ид поднялся на конёк крыши над головой, замер.

— Он ничего не увидел, — пробормотал Дэвид Фаэд.

— Ты послушай. Послушай ещё раз у двери.

Они разговаривали шёпотом. Ничего, ничего не было слышно. Они прокрались обратно к огню и стояли там, согреваясь, не сводя глаз с засова. Тот не двигался. Через некоторое время Куни соскользнул в свой гамак; Фаэд лёг на свою койку рядом с койкой Лэшмана. Старик снова взял в руки книгу. Бекас подбросил в костёр пару поленьев и остался возле него, съёжившись, вытянув руки, словно собираясь обнять. Бесформенная тень колыхалась вверх и вниз на койках позади него; а он всё ещё смотрел на задвижку сквозь пламя.

Внезапно больной всхлипнул:

— Им нужен не он, а Билл! Они охотятся за Биллом, да! Это Билл пытался войти внутрь.... Почему ты не открыл? Это был Билл, говорю тебе!

При первом же слове Бекас повернулся лицом вправо и теперь стоял, указывая пальцем и дрожа, как человек в лихорадке.

— Приятель... ради всего святого...

— Я не буду молчать. Сегодня что-то не так. Я не могу уснуть. Это Билл, говорю тебе. Видишь, его бедный гамак там, наверху, трясётся...

Куни вывалился на пол с ругательством и глухим стуком.

— Замолчи, ты, подлая свинья! Замолчи, или... — Его рука потянулась за спину к ножнам.

— Дэн Куни, — Старик закрыл книгу и высунулся наружу, — возвращайся в свою койку.

— Я не могу, сэр. Нет уж, если только...

— Возвращайся.

— Плоть и кровь...

— Возвращайся.

И в третий раз за эту ночь Куни вернулся в гамак.

Старик ещё немного высунулся и обратился к больному:

— Джордж, я был на могиле Билла менее шести часов назад. Даже снег на ней не был потревожен. Ни зверь, ни человек, а только Бог может разрушить твёрдую землю, под которой он лежит. Я сказал тебе, и ты можешь мне верить. А теперь спи.

Длинный Ид скорчился на замёрзшем гребне хижины, засунув ноги в спальный мешок, подтянув колени и положив на них два ружья. Существа, кем бы оно не было, пытавшегося открыть дверь, нигде не было видно; но он решил подождать несколько минут готовым к стрельбе, пока холод не загонит его вниз. А сейчас свежий покалывающий воздух явно шёл на пользу. Истина заключалась в том, что Длинный Ид начал бояться самого себя и того, как последние сорок восемь часов его мысли металась среди зелёных полей и видений весны. Как он выразился про себя, что-то в его голове таяло. Библейские тексты журчали в нём, словно бегущие ручейки, и, когда они уносились, он почти ощущал запах свежего весеннего луга.

«Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете... Садовый источник — колодезь живых вод и потоки с Ливана... Поднимись ветер с севера и принеси с юга, повея на сад мой, — и польются ароматы его!...»

Голово закружилась. Но он должен продержаться. Они все сходили с ума; на самом деле, уже на треть все сошли с ума, все, кроме Старика. А Старик полагался на него как на свою правую руку. Один проблеск возвращающегося Солнца — лишь один проблеск — может ещё спасти их.

Он посмотрел на замёрзшие холмы и на север, за толщу льда. Несколько бледно-фиолетовых полос — призрак Полярного сияния — заслоняли Луну. Он мог видеть на мили вокруг. Ни медведя, ни лисы, ни одного живого существа не было видно. Но кто мог сказать, что скрывается за любым из тысячи холмов? Он прислушался. Он услышал медленный скрежет льда о берег, и только это.

«Ловите нам лисиц, лисенят...»

Так не пойдёт. Он должен спуститься и быстро проверить или вернуться в хижину. Может быть, в конце концов, за одним из торосов был медведь, и выстрел или возможность выстрела, очистят его голову от этих дурацких мыслей. Он обещет всё вокруг.

Что это было, что это двигалось... на торосе, менее чем в пятистах ярдах отсюда? Он наклонился вперёд, чтобы посмотреть.

Теперь ничего: но что-то он видел. Ид опустился на карниз у северного угла, а с карниза перебрался на сугроб, сложенный там. Сугроб был плотным, если бы не предательская корка свежего снега. Его нога поскользнулась, и он свалился вниз.

К счастью, он был осторожен и повесил ружья за спину. Длинный Ид поднялся и, сняв одно, сделал шаг в яркий лунный свет, чтобы осмотреть стволы; сделал два шага и замер как вкопанный.

Прямо перед ним, на замёрзшем снежном покрове, был отпечаток ноги. Нет: два, три, четыре — множество следов: отпечатки босых человеческих ног: правая нога, левая нога, обе босые, и небольшое пятнышко в каждом отпечатке — кровь.

Значит, нечто приходило. Он обезумел от ярости. Он посмотрел на следы, сунул в них пальцы, коснулся замёрзшей крови. Снег перед дверью был густо утоптан — следы туда, следы обратно.

«Задвижка... поднималась...»

Внезапно он вспомнил фигуру, двигавшуюся по торосу, со стоном повернулся на север и бросился в погоню. О, он точно обезумел! Бежал как сумасшедший — барахтаясь, поскользываясь, оступаясь в своих неуклюжих мокасинах.

«Ловите нам лисиц, лисенят... Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него... Заклинаю вас, дочери Иерусалимские... Заклинаю вас... Заклинаю вас...»

Так он пробежал, может быть, ярдов триста, а затем так же внезапно остановился.

Его товарищи — они не должны увидеть эти следы, иначе они тоже сойдут с ума: сойдут с ума, как и он. Нет, он должен спрятать их, все следы в пределах видимости из хижины. А завтра он выйдет один и спрячет отдалённые. Длинный Ид медленно возвратился по своим следам. Следы — и те, что вели в сторону хижины, и те, что вели в сторону от неё, — лежали близко друг к другу; и он опускался на колени перед каждым, присыпая впадинами свежим снегом и тщательно скрывая кровь. И великое счастье наполнило его сердце; раз или два, пока он работал, его накрывало ощущение, что кто-то следит за ним, наблюдает за ним. Один раз он повернулся на север и посмотрел, сложив руки козырьком. Он ничего не увидел и снова принялся за свой долгий труд.

В хижине тихо стонал больной. Фаэд, Бекас и Куни спали беспокойно и что-то бормотали во сне. Старик лежал без сна, размышляя. После Билла — Джордж Лэшман; а после Джорджа?.. Кто следующий? И кто будет последним — кто останется без погребения? Мужчины быстро слабели; их физические и умственные силы подходили к концу. Фаэд и Длинный Ид остались единственными, на кого можно было положиться. Старику нравилась религиозность Длинного Ида. В самом деле, у него росло подозрение, что Длинный Ид, несмотря на некоторую слабость веры, мог бы войти в Царство Небесное, особенно, если за него молится. Старик начал про себя молиться за Ида; но опыт подсказывал, что успешная молитва должна говорить вслух, и он заснул с чувством неудачи...

Бекас потянулся, зевнул и проснулся. Было семь утра: время приготовить чашку чая. Он подбросил охапку поленьев в огонь, и шум разбудил Старика, сразу спросившего, где Длинный Ид. Тот не вернулся.

— Сходи на крышу. Парень, должно быть, замёрз.

Бекас взобрался по лестнице, приоткрыл люк и вернулся, сообщив, что Длинного Ида нигде не видно. Старик натянул свитер поверх своей одежды — уже третий — подхватил ружьё и двинулся к двери.

— Выпей чашку чего-нибудь тёплого, чтобы подкрепиться, — посоветовал Бекас. — Чайник закипит минут через пять.

Но Старик отодвинул тяжёлые засовы и распахнул дверь.

— Что за чёрт!.. Парни, на помощь!

Длинный Ид лежал ничком у порога, вытянутые руки почти касались его, мокасины уже скрылись под слоем снега, непрерывно сыпавшегося на его длинные растрёпанные волосы, на его спину, на ноги Старика.

Они внесли Ида и положили на кучу шкур у огня. Они вливали ром сквозь стиснутые зубы, били по рукам и ногам, разминали и растирали. Губы дрогнули: что-то среднее между вздохом и улыбкой, наполовину увиденное, наполовину услышанное. Глаза открылись, и товарищи увидели, что это действительно была улыбка.

— Чему радуешься, приятель? — спросил Бекас.

— Я... я видел... — Голос оборвался, но он всё ещё улыбался.

Что он видел? Ну не Солнце же! По расчётам Старика, Солнце должно было появиться ещё через неделю или две: сколько именно недель, он не мог сказать точно, и иногда был даже рад, что не знает.

Ида заставили выпить пару ложек рома и тепло укутали. Каждый мужчина поделился своей одеждой. Затем Старик воззвал к утренней молитве, и трое здоровых мужчин опустили вместе с ним на колени. Теперь, то ли из-за их радости по поводу спасения Длинного Ида, то ли потому, что Старик был в великолепном голосе, они почувствовали, как сердца воспрянули в то утро с бодростью, что не знали они уже несколько месяцев. Длинный Ид лежал и мечтательно слушал, как страстное благодарение Старика сотрясало хижину. Взгляд блуждал по склонённым фигурам.

«Старик, Дэвид Фаэд, Дэн Куни, Бекас и... и Джордж Лэшман на своей койке, конечно, — и я».

Но тогда кто же был седьмым? Он начал считать.

«Итак, я, Лэшман на своей койке, Дэвид Фаэд, Старик, Бекас, Дэн Куни... Один, два, три, четыре... ну, итого выходит семь. Но кто был седьмым? Был ли это Джордж, выползший из постели и вставший на колени? Определённо, на коленях стояли пятеро. Нет: Джордж, совершенно очевидно, лежал на койке и не мог пошевелиться. Тогда кто же этот незнакомец? Опять неверно: незнакомца не было. Он знал всех этих парней — всё его друзья. Это был... Билл? Нет, Билл был мёртв и похоронен: никто из них не был Биллом или похожим на Билла. Попробую ещё раз. Раз, два, три, четыре, пять — и двое нас больных, семеро. Старик, Дэвид Фаэд, Дэн Куни — я что, посчитал Дэна дважды? Нет, Дэн, вон там, справа, и он только один. Пятеро мужчин стоят на коленях, а двое на спинах: каждый раз получается семеро. Боже милостивый... А что, если...»

Старик замолчал и, поднимаясь с колен, увидел лицо Длинного Ида. Пока остальные разбирали свои миски с завтраком, он подошёл, наклонился и прошептал:

— Скажи мне. Что ты видел?

— Видел? — эхом отозвался Длинный Ид.

— Да, что ты видел? Говори тише — это было Солнце?

— С... — Но на этот раз эхо замерло на губах, а лицо наполнилось непонимающим благоговением. Это напугало Старика.

— Тебе лучше немного поспать, — сказал он и повернулся, чтобы уйти, когда Длинный Ид пошевелил рукой под краем своего пледа.

— Семь... Посчитай... — прошептал он.

— Господи, помилуй нас! — пробормотал Старик в бороду, удаляясь. — Длинный Ид сошёл с ума!

И всё же, хотя ещё час или два назад это было худшим, что могло случиться, Старик почувствовал себя необычайно бодрым. Что касается остальных, то они вели себя как нормальные люди весь тот день и в течение трёх последующих. Даже Лэшман перестал ныть и, если только их глаза не сыграли с ними злую шутку, изменился к лучшему.

— Если мне не захочется петь, то я сообщу об этом! — объявил Бекас на второй вечер, к полному удивлению всех, считая себя.

— Тогда почему, чёрт возьми, ты не поёшь? — удивился Дэн Куни и достал свою гармошку.

И Бекас запел «Вилликинс и его Дина»²⁴!

И даже Старик оторвался от «Потерянного рая» и присоединился к хору.

К концу второго дня Длинный Ид снова был на ногах. Он ходил с ошеломлённым выражением в глазах. Он считал, считал про себя, всегда считал. Старик украдкой наблюдал за ним.

С тех пор как он выздоровел, Длинный Ид почти не ничего не говорил, хотя губы его часто шевелились. Но ближе к полудню четвёртого дня он сказал необыкновенную вещь.

— Вот тот спальный мешок, что я взял с собой прошлой ночью. Интересно, он всё ещё на крыше? К этому времени он довольно сильно промёрз. Ты мог бы подняться и посмотреть, Бекас, и, — он сделал паузу, — если найдёшь его, положи туда, на гамак Билла.

Старик открыл рот, но снова закрыл его, не сказав ни слова. Бекас поднялся по лестнице.

Прошла минута, а затем они услышали крик с крыши — крик, заставивший их всех вздрогнуть, задохнуться, заплакать, взбодриться, броситься к подножию лестницы.

— Парни! Парни! Солнце!

Несколько месяцев спустя — был июнь, и даже Джордж Лэшман немного окреп — Бекас прибежал с новостями о китобойном флоте. И вот на пляже, когда они смотрели, как суда встают на якорь, Длинный Ид рассказал Старикау свою историю.

— Думаю, это была галл... галлу... как там это называется? Я точно чокнулся, да?

²⁴ «Villikins and his Dinah» — сценическая песня, появившаяся в Англии в 1853 году как бурлескная версия традиционной баллады под названием «Уильям и Дина».

Взгляд Старика блуждал по покрытым лишайником валунам, переходил на морских птиц, кружащих над кораблями, и тут ему на ум пришла история, прочитанная в «Турецком шпионе».

— Я бы так не сказал, — медленно ответил он.

— В любом случае, — сказал Длинный Ид, — я верю, что Господь явил чудо, чтобы спасти нас всех.

— Я бы тоже так не сказал, — возразил Старик. — Может оно предназначалось только для нас с тобой, а остальные спаслись, как бы это сказать, за компанию.

The Seventh Man, 1900

Перевод: А. Ланудев

Доктор Томас Квиллер Куч

Адские гончие

ИЗ СЕЛЬСКОГО ФОЛЬКЛОРА КОРНУОЛЛА

Однажды ветреной ночью бедный пастух возвращался домой через вересковые пустоши, когда услышал вдали, среди холмов, собачий лай, в коем вскоре опознал заунывный хор гончих Дандо. До хижины его оставалось ещё три или четыре мили, и, очень встревоженный, пастух поспешил вперёд так быстро, как только позволяли коварная почва и ненадёжная тропа, но, увы! Тоскливые завывания гончих и зловещие вскрики охотника раздавались всё ближе и ближе. Пробежав изрядное расстояние, пастух был настолько оглушён ими, что, оглянувшись назад, — о ужас! отчётливо увидел охотника и псов его. Первый был страшен: глаза-блюдца, рога и хвост, — все черты, присущие, по общему мнению, истинному дьяволу. Разумеется, он был чёрен, а в руке сжимал длинный охотничий посох. Многочисленная собачья свора, чернела на небольшом видимом участке вересковой пустоши; каждая фыркала огнём и издавала неописуемо страшный вой. Поблизости не было ни хижины, ни скалы, ни дерева, где пастух мог бы укрыться, и ему, по-видимому, ничего не оставалось, как отдаться на произвол судьбы, как вдруг счастливая мысль подсказала единственный выход. И в тот момент, когда нечисть бросилась на него, пастух упал на колени в молитве. Святые слова, им произнесённые, наполнились невыразимой силой; ибо сразу же, будто почуяв преграду, замерли адские псы, завывая громче, чем когда-либо, а охотник крикнул: «Бо Шроув», что (по словам рассказавшего мне), на древнем языке означает «Парень молится», после чего погоня устремилась в ином направлении и скрылась из виду.

The Hell-Hounds, 1855
Перевод: А. Ланудев

Николай Горелов

Собаки Дандо

DANDO AND HIS DOGS

На примере истории священника Дандо, жившего в деревне Сент-Герман в Корнуолле, хорошо видно, как неправедные люди присоединяются к дьявольской охоте.

Дандо был священником, но его занимали лишь плотские удовольствия да охота. Будни и воскресенья были для него едины, он выезжал на охоту даже в святые праздники. Как-то раз в один прекрасный воскресный день Дандо с приятелями охотились в поместье под названием Земля, им везло, и они успели настрелять много дичи к тому времени, как решили сделать привал, чтобы покормить лошадей. Тут Дандо обнаружил, что ни у него, ни у его спутников во флягах не осталось ни капли влаги.

— Если не найти вина на Земле, так идите за ним хоть в преисподнюю! — возмущённо выкрикнул Дандо.

И тут к нему подъехал незнакомец, незаметно присоединившийся к охоте, он протянул флягу, сказав, что это самый лучший напиток из того места, которое он только что помянул. Дандо с удовольствием осушил флягу.

— Если такое пьют в аду, то я не откажусь провести там вечность.

В это время незнакомец потихоньку собрал всю дичь. Дандо потребовал вернуть добычу, разразившись страшными проклятиями.

Незнакомец только сказал на это:

— Своего я не отдам.

Дандо соскочил с лошади и бросился на незнакомца, который поднял его за шиворот.

— Я буду преследовать тебя за это и в аду! — кричал Дандо.

На что незнакомец ответил:

— Ты отправишься туда со мной.

С этими словами он посадил Дандо перед собой, пришпорил коня, и тот одним прыжком оказался на середине ручья и исчез вместе с седоками. Но не навсегда: потому что с того дня люди время от времени слышат, как Дандо со своими собаками проносится по тем местам.

2008

Содержание

Тёмное зеркало.....	3
Случай в Бликирк-он-Сэндз.....	6
Верный посыльный.....	18
Дары Фёдора Химкова	23
Мой дед Хендри Уотти	28
Ночная перекличка на Железном рифе.....	35
Пара рук	53
Седьмой человек	66
Адские гончие	81
Собаки Дандо	82